# АПОКРИМ

## ИСТОРИЯ ЗАБЫТАЯ ВРЕМЕНЕМ



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

КАЙЛ СТРЕЙТ

Кайл Стрейт

# Апокрим. История, забытая временем

«Автор»
2026

**Стрейт К.**

Апокрим. История, забытая временем / К. Стрейт — «Автор», 2026

У всего в этом мире есть оборотная сторона. Но что, если истина настолько опасна, что ее предпочли стереть из памяти целых поколений?Кайл Стрейт владел даром, о котором многие предпочитают даже не шептаться. «Яство бытия» не просто открывает двери в прошлое — оно заставляет заново проживать чужие грехи, страхи и тайны, хранящиеся на самой грани человеческого сознания.Прикосновение к артефакту становится точкой невозврата. Вспышка воспоминаний увлекает Кайла в лабиринт — туда, где когда-то началась история его семьи. Сквозь залы Академии магии, сквозь строгие церковные догмы и шепот заговорщиков проявляются судьбы Алана и Эмили. Их запретное сближение разгоралось вопреки законам, а дерзкое стремление узнать устройство Вселенной превратило их в мишень.Прошлое не хочет отдавать свои секреты просто так. Каждое погружение приближает Кайла к роковой разгадке — и к осознанию того, что цена за истину уже была оплачена кровью. Но готов ли он сам стать частью этой истории?

© Стрейт К., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Предисловие 6
Глава 1 – Вступление 9
Глава 1.1 – Детство Эмили 13
Глава 1.2 – Детство Алана 21
Глава 2 – Академия 31
Глава 3 – Необычный вечер 46
Отступление 75
Глава 4 Побег 78
Конец ознакомительного фрагмента. 79

# Кайл Стрейт
# Апокрим. История, забытая временем

Оглавление
Предисловие
Глава 1 – Вступление
Глава 1.1 – Детство Эмили
Глава 1.2 – Детство Алана
Глава 2 – Академия
Глава 3 – Необычный вечер
Отступление
Глава 4 Побег
Глава 5. За стеной
Глава 6. Вроде как женаты.
Глава 7. Изменения.
Отступление.
Глава 8. Стая
Глава 9.По дороге до…
Глава 10. Быт – это сложно
Глава 11. Встряска
Отступление
Глава 12. Напряжение
Глава 13. Все идет по…
Глава 14. Корабль
Глава 15. Алан
Глава 16. Путешествие
Глава 17. Континент
Глава 18. Две сорванные башни
Глава 19. Финал
Слова Автора

# Предисловие

Дорогой читатель.

Прежде чем вы начнете, я хочу поблагодарить вас. Искренне. За то, что держите эту книгу в руках. За то, что даете мне шанс рассказать историю, которая жила во мне годами. История никогда не существует сама по себе — она рождается в пространстве между рассказчиком и слушателем. И я благодарен, что вы становитесь частью этого пространства.

«Люди подобны книгам: одних мы открываем с трепетом, других — с любопытством, третьих — с удивлением» (Сократ). Я надеюсь, эта книга откроется вам всеми тремя способами сразу. Трепетом. Любопытством. Удивлением. Потому что именно так я открывал для себя этот мир — страницу за страницей, месяц за месяцем.

Вы заметите, что повествование здесь движется необычно. Иногда — стремительно. Слишком стремительно. Сцены сменяют друг друга так быстро, что вы, возможно, почувствуете, как земля уходит из-под ног. Диалоги обрываются на полуслове. Детали проносятся мимо, не успевая отпечататься. Временные рамки смещаются без предупреждения. Персонажи появляются и исчезают, как тени.

Это не ошибка. Это — особенность.

«Не могу я без души описывать» (Гоголь). Я не могу без души рассказывать. А душа — штука порывистая. Она прыгает через пропасти, минуя мосты. Она обрывает предложения на полуслове, потому что следующая мысль уже бьется в висках. Она не дает передышки, потому что мир, который я вам показываю, сам не дает передышки.

Поэтому прошу вас: продолжайте читать. Даже когда теряете нить. Даже когда кажется, что все слишком быстро, слишком сумбурно, слишком много. Продолжайте.

Есть старая пословица: «Падай семь раз, вставай восемь». Отнеситесь к чтению этой книги так же. Если потерялись — вернитесь. Если запутались — читайте дальше. Потому что структура этой истории — не линейна. Она — органична.

Она строится вокруг вас.

Вот что я пытался сделать: создать повествование, которое структурирует себя исходя из того, что известно читателю. Из состояния главных героев. Из временного контекста. Не я веду вас за руку — вы сами определяете, на чем сосредоточиться. На сюжете? На основах мира? На отношениях между персонажами?

Выбор — ваш. Всегда ваш.

«Весь вопрос в том, видишь ли ты вещи такими, каковы они есть, или такими, какими ты хочешь их видеть» (Бертран Рассел). Эта книга дает вам возможность и того, и другого. Видеть мир таким, каков он есть — через рассказчика. И таким, каким вы хотите его видеть — через ваше восприятие.

Иногда повествование замедляется. Вы погружаетесь в детали магической системы, в механику «мана-ткани» или в тонкости «Яства бытия». Иногда — ускоряется до бешеного ритма погони, где счет идет на секунды, а диалоги режут, как лезвия. Иногда — замирает совсем, позволяя вам просто быть рядом с героями, наблюдать за их тихими моментами, их сомнениями, их радостями.

Это не хаос. Это — ритм.

Ритм, который следует за вашим вниманием. За вашим интересом. За вашей готовностью погружаться глубже.

Поэтому не ищите скрытых смыслов. Не анализируйте каждый символ, каждую метафору, каждый поворот сюжета, как будто это ребус, который нужно разгадать. Эта книга — не экзамен. Она — дверь.

Дверь в другой мир.

Мир, который не лучше и не хуже нашего. Он — другой. И в этой разнице — вся его прелесть. Вся его магия. Вся его опасность.

Один писатель говорил, что создание вторичных миров — это не бегство от реальности, а скорее попытка понять ее глубже через призму иного устройства (Толкин). Я согласен. Этот мир — не убежище. Он — зеркало. Кривое, странное, местами треснувшее зеркало, в котором наша реальность отражается под неожиданными углами.

Вы встретите здесь людей, которые борются с тем же, с чем боремся мы все: с несправедливостью системы. С ограничениями, наложенными извне. С собственными страхами и сомнениями. С необходимостью выбирать между безопасностью и свободой. Между долгом и желанием. Между тем, кем тебя считают, и тем, кем ты являешься на самом деле.

Алан — изобретатель, вынужденный скрывать свой дар. Эмили — ученица, разрывающаяся между академическим давлением и жаждой самостоятельности. Кайл — молодой человек, несущий бремя знания, которое тяжелее, чем он предполагал.

Они — не идеальны. Они ошибаются. Они манипулируют. Они любят так яростно, что это больно. Они ненавидят так яростно, что это опасно. Они — живые. Во всяком случае, я старался сделать их такими.

Вы заметите, что некоторые вещи остаются недоговоренными. Некоторые вопросы — без ответов. Некоторые персонажи — без подробных описаний. Это тоже не случайно. «Самые страшные монстры — те, чьи очертания лишь угадываются в темноте» (Чемберс). Я верю, что недосказанность часто сильнее детализации. Что воображение читателя дорисует куда более яркие образы, чем любые мои слова.

Так что доверьтесь своему воображению. Доверьтесь интуиции. Доверьтесь тому, как история доходит до вас — прямо, без посредников, без надстроек.

Не пытайтесь «понять» все с первого раза. Не пытайтесь уловить каждую деталь мировоззрения, каждую нить сюжета, каждую отсылку к более широкой мифологии. Читайте так, как слушаете музыку — всем телом, а не только головой. Дайте истории войти в вас. Дайте ей время.

«Вы сами должны пройти этот путь. Никто не пройдет его за вас. Вы сами должны пройти этот путь» (Уолт Уитмен). Это верно и для чтения. Никто не прочтет эту книгу за вас. Никто не почувствует ее так, как почувствуете вы. Никто не вынесет из нее тех же уроков, тех же образов, тех же моментов, что застрянут в памяти надолго после того, как вы перевернете последнюю страницу.

Мир, в который вы входите, сложен. В нем есть магия — но она иссякает. Есть церковь — но она скрывает правду. Есть академия — но она использует, а не учит. Есть Великое Ничто за пределами карт — и возможно, именно там скрывается настоящая истина.

Это мир контрастов. Резких, болезненных, прекрасных контрастов. Между деревней Ривен Роуд с ее грязью и дымом и сияющими залами Академии в Прайвуде. Между простотой Орстана и изощренностью Адели. Между верой и знанием. Между страхом и свободой.

Я не обещаю, что будет легко. Обещаю, что будет честно.

Честно по отношению к персонажам. К миру. К вам.

И последнее. Эта книга — часть чего-то большего. «Апокрима», как называют его герои. История, забытая временем. История, которую Кайл записывает на инфосферу, касаясь рук своих родителей и извлекая их воспоминания даром «Яства бытия». История в истории. Память внутри памяти.

Вы начнете с конца. Увидите, чем все закончилось, прежде чем поймете, как началось. Это тоже не случайно. «Тот, кто знает, зачем жить, может вынести почти любое как» (Ницше). Зная, куда движутся герои, вы сможете лучше понять, почему они делают те или иные выборы. Почему рискуют. Почему бегут. Почему любят.

Так что — вперед. Переверните страницу. Войдите в этот мир. Примите его таким, какой он есть. Со всеми его скоростями, паузами, провалами и взлетами. Со всей его магией и всей его грязью. Со всеми его героями и всеми его монстрами.

Я буду ждать вас по ту сторону последней страницы. Чтобы поблагодарить еще раз. Чтобы выслушать. Чтобы, возможно, начать новую историю.

Готовы?

Переворачивайте страницу.

Коснитесь руки, протянутой из прошлого.

И позвольте памяти унести вас туда, куда вас никогда не пустят официальные летописи.

С уважением и благодарностью,

Кайл Страйт.

# Глава 1 – Вступление

*«Иногда истории волнуют нас*
*больше, чем настоящее,*
*потому что в них есть то,*
*чего нам не хватает в жизни.»*
из «Хроник Нарнии»
К.С. Льюиса (Принц Каспиан)

Меня зовут Кайл Стрейт, и я рассказываю эту историю от имени моих родителей.

Сказать это легко. Сделать — нет.

Архив. Так я называю комнату, хотя архив предполагает порядок, систему, каталогизацию. Здесь ничего этого нет. Только хаос знания, разбросанного по поверхностям, как обломки после шторма. Тяжелый дубовый стол занимает центр. Я вырезал на нем инициалы — К.С. — в пятнадцать лет, в день, когда обнаружил свой дар. Родители не ругались. Мама лишь покачала головой, а отец ухмыльнулся, будто одобряя мелкий вандализм как признак характера.

Стол завален. Пергаментные свитки, некоторые свежие, другие пожелтевшие от времени, лежат поверх справочников по теории маны. Перья — десятки их, все испачканные чернилами, некоторые обгрызенные до основания — торчат из глиняных горшков, как мертвые цветы. Открытая книга по концентрации маны развернута на странице с диаграммой человеческого «сосуда» — тела, вмещающего внутреннюю ману. Я читал ее на прошлой неделе. Или месяц назад. Время в архиве течет иначе.

Единственная мана-лампа горит в углу. Пламя ее слабое, неровное, пульсирующее синевой, которая отбрасывает тени слишком длинные для такой маленькой комнаты. Я должен был заменить кристалл неделю назад. Не сделал. Теперь пламя едва достигает высоты моего мизинца, и комната тонет в полумраке, который делает чернильные пятна на моих пальцах невидимыми. Удобно.

А посередине стола — она. Инфосфера.

Сфера размером с мое сердце. Стеклянная, или что-то похожее на стекло, но теплая на ощупь, как живая. Внутри нее — свет. Тусклый, неустойчивый, мерцающий между бледно-голубым и почти прозрачным. Он пульсирует в ритме, который я никогда не мог синхронизировать с собственным сердцебиением, как ни старался. Иногда медленнее. Иногда быстрее. Сегодня — медленнее. Усталый свет.

Пылинки висят в воздухе, пойманные в луче. Они кружатся, подхваченные невидимыми потоками, и я наблюдаю за ними, откладывая неизбежное. Каждая пылинка — чья-то кожа, чей-то волос, чья-то жизнь, распавшаяся на микроскопические частицы и теперь танцующая в свете умирающей лампы. Поэтично. Бесполезно.

Я протягиваю руку. Ладонь над сферой замирает на секунду — ритуал, который я выработал за месяцы работы. Не торопиться. Уважать процесс. Уважать память.

Кладу ладонь на поверхность.

Ничего не происходит.

Свет просто тускнеет еще больше, съеживается, как испуганное животное. Не взрыв, не вспышка, не трансцендентное озарение. Просто свет, отступающий от моего прикосновения, как свеча под сквозняком. Я чувствую легкую вибрацию под кожей — едва заметную, почти воображаемую. Сфера теплая. Всегда теплая, даже когда комната холодная, как сейчас.

Я отдергиваю руку. Свет медленно возвращается к своему прежнему уровню — слабому, но устойчивому. Как будто сфера дышит. Вдох. Выдох. Вдох.

Так происходит каждый раз. Я касаюсь. Свет гаснет. Я убираю руку. Свет возвращается. Никаких откровений. Никаких голосов из прошлого. Никаких видений.

Просто работа. Тяжелая, монотонная, необходимая работа.

Я записываю на инфосферу. Так называют это те, кто понимает, как оно работает. А таких — единицы. Отец — один из них. Он объяснял это, а я кивал, делая вид, что понимаю, пока однажды не понял по-настоящему. Инфосфера — не артефакт. Не реликвия. Не магический предмет в привычном смысле.

Она — устройство способное хранить запись. Коллективная память. Библиотека жизней, сохраненных в форме, на которую можно записать воспоминая используя мой дар. Яство бытия. Громкое название для способности, которая сводится к простому, мучительному факту: я касаюсь человека — и вижу всю его жизнь, с первого вздоха до последнего момента перед моим прикосновением.

Все. Без исключений. Без цензуры. Без возможности выбрать, что смотреть, а что — нет.

Я обнаружил это в пятнадцать, пожимая руку другу. Беку. Обычное рукопожатие после школы, ничего особенного. Его ладонь была влажной от нервов — он только что провалил тест по истории. А я почувствовал...

Все. Его рождение. Первый крик. Мать, склонившуюся над ним, ее усталое лицо, размытое его младенческим зрением. Первые шаги. Падение. Слезы. Школа. Учителя. Другие дети. Ссоры. Радости. Страхи. Все его тайны. Все его стыдные моменты. Все, что он никогда никому не рассказывал.

Это длилось несколько минут, а показалось, что три часа.

Я отпустил его руку и упал на колени. Его лицо — настоящее, не память — мелькало передо мной, перекрываясь образами его пятилетнего «я», плачущего из-за разбитой коленки. Я видел его и ребенком, и подростком одновременно. Слышал его голос в разных возрастах, накладывающийся сам на себя, как плохо настроенные инструменты.

Бек испугался. Я тоже.

Мама забрала меня в святилище Аврама на следующий день. Долгая дорога в карете, я молчал всю дорогу, глядя в окно на проплывающие поля. Она не спрашивала. Просто держала мою руку, и ее пальцы были холодными, а ладонь — теплой. Я боялся коснуться ее и увидеть что-то, чего не должен.

В святилище было темно и пахло ладаном. Священник — не Павел, другой, чьего имени я не запомнил — провел меня к алтарю, где стоял шар Аврама. Меньше, чем на моем столе. Более яркий. Более... живой, что ли.

«Коснись», — сказал священник.

Я коснулся. И шар ответил — не светом, а словом, проявившимся на его поверхности, как надпись на воде. Яство бытия.

Священник склонил голову. «Редкий дар», — произнес он. - Я не знаю как он работает уж простите.

Редкий. Полезный. Неудобный.

Потому что теперь, спустя годы, я сижу в этом архиве и записываю жизни своих родителей на инфосферу. Погружаясь в их воспоминания. Вытаскиваю их наружу. Сохраняю. А они... они позволяют мне это делать. Доверяют мне свои самые сокровенные моменты, зная, что я увижу все. Абсолютно все.

Они выглядят на тридцать, но им — сотни лет. Я знаю это, потому что погружаясь в их воспоминания я не могу просмотреть их полностью. Они словно густым потоком протекают сквозь меня, как горная река несется к морю, которое в будущем вольётся в океан.

И все это начинается с истории, которую мне рассказали в школе. С Аврама.

Святой отец Павел. Высокий, худой мужчина с глазами, которые всегда казались немного слишком широко открытыми, будто он постоянно чему-то удивлялся. Он преподавал историю

магии в монастырской школе, куда меня отправили в семь лет. Класс был маленький — двенадцать детей, сидящих на деревянных скамьях, которые скрипели при каждом движении. Окна — узкие, пропускающие ровно столько света, чтобы видеть доску, но не достаточно, чтобы согреться зимой.

Павел входил в класс, и дети замирали. Не из-за страха — из-за чего-то другого. Благоговения, наверное. Он нес с собой ощущение важности, как будто каждое его слово было вырезано на камне задолго до нашего рождения.

«Дети», — говорил он, и его голос заполнял комнату, не нуждаясь в громкости. — «Сегодня мы поговорим о начале. О том, с чего все началось».

И он рассказывал. О первом маге. Авраме.

1683 года назад. Дата, которую каждый ребенок заучивал наизусть, как таблицу умножения. 1683 года с момента, когда магия вошла в мир через одного человека и изменила все.

Аврам. Его дар назывался Выделение. Способность выделять — вытягивать наружу — чувства, желания, намерения. Делать внутреннее внешним. Превращать невидимое в видимое.

Павел демонстрировал это на уроках. Не саму магию — он не был достаточно силен для такого — а принцип. Он клал руку на плечо одного из учеников и говорил: «Представь, что твоя боль — это жидкость. Темная, густая. А я вытягиваю ее из тебя, каплю за каплей». И мы верили. Мы чувствовали, как что-то внутри нас отзывается на его слова, даже без магии. Сила повествования. Сила веры.

Аврам лечил так. Рука на больном. Представление болезни как чего-то материального. И свет — слабый, но неоспоримый — сопровождал исцеление. Чем больше Аврам знал о человеке, о его недуге, о его жизни — тем ярче свет. Тем эффективнее лечение.

«Знание усиливало его дар», — объяснял Павел. — «Не чистота сердца. Не сила воли. Знание. Понимание. Эмпатия».

Это была ересь, хотя я понял это лишь годы спустя. Церковь учила, что магия происходит от чистоты, от невинности, от божественного благословения. А Павел — один из их же священников — говорил, что все дело в знании. В понимании механизма.

Я сидел на своей скамье и слушал, широко раскрыв глаза. Впитывал каждое слово. Для меня тогда Аврам был богом, полумифической фигурой, существовавшей в том же измерении, что и персонажи сказок, которые мать читала мне перед сном. Реальным, но недостижимым. Святым, но человечным.

Аврам путешествовал. Восемнадцать лет — возраст, когда большинство из нас только начинают понимать, кто они есть — а он уже знал свою силу и искал других. Других одаренных. Других носителей даров.

И находил их. По одному. По двое. Собирал вокруг себя тех, кто отличался от нормы, и учил их. Не тому, как использовать магию — они и так это умели — а тому, как понимать ее. Как жить с ней. Как не бояться собственной силы.

А потом он создал шары. Семь артефактов, каждый размером с яблоко, сделанных из материала, который никто не мог идентифицировать. Не камень. Не металл. Не стекло. Что-то между. Что-то свое.

Шар Аврама. Прикоснись — и он покажет название твоего дара. Проявит его на своей поверхности, как ответ на вопрос, который ты еще не успел задать.

Семь шаров. Разосланы по семи главным городам королевства. Доступные для всех. Бесплатные. Безусловные.

«Он верил», — говорил Павел, и его голос дрожал от эмоции, которую он редко позволял себе показывать, — «что осознание собственной природы — это первый шаг к новой эре. К миру, где магия не разделяет, а объединяет. Где знание о себе ведет к знанию о других. Где различия становятся мостами, а не стенами».

Мы аплодировали. Я аплодировал громче всех, хлопая до боли в ладонях. Потому что это было красиво. Потому что это имело смысл. Потому что я еще не научился сомневаться в красивых историях.

Аврам был реальным. Его дар — реальным. Шары — реальными. Но все остальное... религия, догмы, правила, запреты... все это выросло вокруг его наследия, как сорняки вокруг редкого цветка. Используя его имя. Искажая его учения. Превращая простую, ясную идею — знай себя, чтобы понимать других — в сложную, запутанную систему контроля.

Отец называет это «институциональным паразитизмом». Мама просто качает головой и говорит: «Люди боятся того, чего не понимают. А вместо того, чтобы понять, они строят стены».

Я сижу в своем архиве и смотрю на инфосферу. Свет внутри нее пульсирует, ловя пылинки, и я думаю о том, как странно — записывать чужую память, чтобы сохранить правду, в то время как официальная история построена на полуправдах и умолчаниях.

Мои родители не рассказывали мне эту историю. Они позволили мне узнать ее самому — через школу, через церковь, через общепринятое повествование. А теперь, извлекая их воспоминания, я вижу пробелы. Противоречия. Нестыковки.

И моя задача — не выбирать между версиями. Не решать, какая правда «правильная». Моя задача — записать все. Их память. Их правду. Их версию событий, которая существовала задолго до того, как святой отец Павел родился, учился, стал священником и начал рассказывать детям красивую историю о начале мира.

Я снова протягиваю руку к инфосфере. На этот раз не касаюсь — просто держу ладонь над ней, чувствуя исходящее тепло. Свет внутри сферы мерцает, как будто отвечая на мое присутствие. Признавая меня.

— Я начинаю.

# Глава 1.1 – Детство Эмили

Мамин голос пробивается сквозь сон, как нож через масло. Чистый, неотступный, уже на кухне, уже торопящийся.

— Эмили, вставай быстрее, помоги накрыть на стол, скоро папа проснется.

Голос, который означает одно: мама опаздывает. Опять. Я переворачиваюсь, деревянные доски скрипят подо мной, и свет из узкого окошка режет глаза. Еще не рассвело как следует. Раньше обычного.

Я сбиваю волосы в пучок — длинные, достающие до середины спины, сбившиеся за ночь в нечто, напоминающее гнездо крупной птицы. Руки сами находят знакомые движения: собрать, скрутить, закрепить. Уже три года делаю это каждое утро. Мускульная память.

— Иду, — кричу в сторону кухни, хотя знаю, что мама не услышит поверх шипения сковороды и звона посуды.

Выхожу в главную комнату. Деревянный пол холодный под босыми ногами. Зимой мы спим все в одной комнате — экономия дров. Летом я получаю свою кровать в углу за занавеской. Привилегия дочери деревенского головы.

Мама мечется между печью и столом. Руки в муке, на лбу испарина, хотя утро еще прохладное.

— Нет, нет, солнышко. — Она оборачивается, видит мою пижаму, и ее лицо меняется. — Снимай пижаму и надевай выходное белое платье.

Я замираю. Белое платье. То самое, которое я надеваю два раза в год: на день деревни и на визит городского инспектора.

— Зачем? Я ведь пришла помочь накрыть на стол.

Мама уже повернулась к печи, снимает сковороду, перекладывает что-то горячее на тарелку. Движения быстрые, отточенные, не требующие мысли.

— Сегодня особый день. Мы ждём гостей из столицы, и поскольку твой отец — глава деревни, они заглянут к нам первыми.

Столица. Слово, которое в нашем доме произносят редко и всегда с придыханием. Как будто сама мысль о ней требует особого уважения.

Мама продолжает расставлять тарелки. Фарфоровые, наши лучшие. Вилки с тусклыми серебряными ручками. Ножи, которые отец точит раз в месяц с религиозным усердием.

— Ты, наверное, не знала, но каждые 15 лет священники из центрального собора берут шар Аврама и отправляются по городам и деревням, чтобы каждый мог узнать свой дар.

Я знала. Конечно, знала. Деревенские дети растут на историях о шарах Аврама так же, как на сказках о лесных духах. Разница только в том, что шары — реальны.

— Почему люди просто не приезжают в собор, чтобы узнать свои способности? — спрашиваю я, хотя ответ знаю прекрасно. Просто хочется поспорить. Утро слишком раннее для покорности.

Мама останавливается. Поворачивается ко мне медленно, с тарелкой в руках, и смотрит так, будто я только что предложила прыгнуть с утеса для развлечения.

— Дочь моя, твои глупые вопросы иногда удивляют меня. — Голос ровный, но в нем что-то дрожит. Раздражение, прикрытое материнской терпимостью. — Не у всех есть возможность добраться до столицы. И даже если они туда приедут, не факт, что доступ к святыне есть у каждого каждый день.

— Да, мама, я поняла.

Я делаю недовольное лицо — специально преувеличенное, чтобы она заметила, — и иду переодеваться. Белое платье висит на гвоздике за занавеской. Я снимаю пижаму, чувствуя

холодный воздух на коже, и натягиваю платье. Ткань жесткая, накрахмаленная, пахнет лавандой и долгим хранением в сундуке.

В зеркале — девочка с серьезным лицом и слишком внимательными глазами. Волосы в беспорядке, несмотря на пучок. Щеки чуть впалые. Отец называет это «интеллигентной худобой». Мама переживает, что я мало ем.

Я не серая мышь. Просто еще не нашла, в какие краски раскраситься.

Возвращаюсь на кухню. Мама кивает одобрительно, и я сажусь помогать с последними приготовлениями. Режу хлеб — ровными ломтями, как учили. Расставляю чашки. Вытираю пыль с подоконника, хотя ее там почти нет.

А потом слышим — стук в дверь.

Отец уже встал, привел себя в порядок. Он появляется из своей комнаты в чистой рубашке, волосы приглажены, лицо серьезное, официальное. Глава деревни. Представитель короля на местном уровне. Он открывает дверь.

И они входят.

Святой отец Олаф. Пожилой мужчина в белых одеждах, с лицом, которое время обработало, как река камень — гладко, без резких углов. Он держится прямо, но без напряжения. Спокойно. Как человек, который слишком многое видел, чтобы суетиться.

За ним — два евнуха. Высокие, широкоплечие, с пустыми глазами и руками, обхватывающими массивную деревянную коробку с металлическими уголками. Они не смотрят по сторонам. Их работа — нести, охранять, молчать.

— Добро пожаловать в наш скромный дом, святой отец, — говорит отец, и в его голосе я слышу нечто, чего раньше не замечала. Не просто уважение. Тревогу. Как будто от того, как пройдет этот визит, зависит что-то большее, чем просто проверка дара дочери.

Олаф улыбается. Улыбка теплая, профессиональная.

— Благодарю за гостеприимство. Дорога была долгой, но вид вашей деревни того стоил. — Он говорит размеренно, каждое слово выверено, как драгоценный камень. Голос приятный, глубокий, тот, что годами звучал с амвона, проникая в самые дальние углы собора.

Мы садимся за стол. Завтрак превращается в нечто среднее между трапезой и официальным приемом. Отец обсуждает маршрут экспедиции, состояние дорог, количество детей в деревне, достигших пятнадцатилетнего возраста. Цифры, даты, расстояния — все это он знает наизусть, как стихи.

Мама почти не ест. Она смотрит на Олафа, потом на меня, потом снова на Олафа. Ее пальцы теребят край скатерти.

— А насчет дара... — начинает она наконец, прерывая отца на полуслове. — Наша дочь, Эмили. Ей как раз пятнадцать.

Олаф кивает, понимающе. Он отпивает из чашки — маленький, аккуратный глоток — и ставит ее на стол с мягким стуком.

— Конечно. После трапезы.

Но мама не может ждать. Я вижу это по ее глазам, по тому, как она сидит на краешке стула, будто готова вскочить в любой момент. Отец замечает то же и слегка качает головой — мол, терпение. Но мамино терпение сегодня исчерпано до дна.

Олаф смотрит на нее, потом на меня, и что-то в его взгляде меняется. Нежная снисходительность, смешанная с профессиональным интересом.

— Что ж, — говорит он и поднимает руку. Евнухи, стоящие у стены, как статуи, оживают. Они подносят коробку, ставят ее на стол перед Олафом. Он проводит пальцами по замку — сложному механизму с несколькими засовами — и открывает.

Внутри, на бархатной подушке, лежит он.

Шар Аврама.

Я ожидала чего-то сияющего, ослепительного. Священной реликвии, достойной легенд. А он... обычный. Немного мутный, как старое стекло, покрытый мелкими царапинами, будто его десятилетиями носили в кармане, роняли, поднимали, снова роняли. Но внутри — свет. Слабый, упрямый, зеленоватый, как первый весенний побег, пробивающийся сквозь мерзлую землю.

— Подойди, девочка, — говорит Олаф. Голос его мягкий, наставительный. — Положи руки на шар и немного подожди.

— Угу.

Я подхожу. Ноги тяжелые, будто налитые свинцом. Я знаю истории. Знаю, какие дары бывают. «Дурной запах» — способность издавать зловоние по желанию. «Плохой сон» — насылать кошмары на окружающих. «Честный желудок» — не знаю даже, что это, и не хочу знать. Бесполезные, нелепые, смешные дары, которые не делают тебя магом, а лишь маркируют как ненормального.

Кладу руки на шар.

Он теплый. Неожиданно теплый, как живое существо, а не артефакт. И потом — ощущение. Странное, необъяснимое. Как будто кто-то забрался внутрь меня и рыщет там, перебирает мысли, чувства, воспоминания, как монеты в кошельке, выискивая что-то ценное. Не больно. Просто... навязчиво. Интимно.

Я хочу отдернуть руки, но не решаюсь. Святой отец смотрит на меня внимательно, не моргая.

А потом на поверхности шара появляется надпись. Буквы возникают одна за другой, как будто кто-то невидимый выводит их иглой изнутри. Зеленоватым светом, тем же, что мерцает в глубине.

Начертание.

— Вот это да! — Олаф хлопает в ладоши, и это движение настолько неожиданное, такое детское от пожилого священника, что я чуть не прыгаю на месте. — Мне кажется, эта способность будет очень полезной в магической академии столицы!

Я смотрю на надпись. Начертание. Что это значит? Рисовать? Писать? Вышивать крестиком?

— Вы хотите сказать, что наша дочь сможет поступить в академию по королевскому приказу? — Отец наклоняется вперед, и его лицо преображается. С обычного, уставшего лица деревенского старосты оно превращается в нечто сияющее, почти юношеское.

— Конечно, — Олаф кивает, его энтузиазм не угасает. — У неё особенный дар, который, я уверен, сможет создавать артефакты.

Мама издает звук — нечто среднее между вздохом и смехом. Ее руки сжимаются в кулаки на коленях, костяшки белеют.

— Артефакты, — повторяет отец, как будто пробует слово на вкус. — Как шар Аврама.

— Возможно, не такие сложные, — осторожно говорит Олаф, но отец уже не слушает. Он видит будущее: дочь — столичный маг, создатель священных реликвий, фаворит короля. Богатство. Уважение. Избавление от вечной борьбы с черноземом и неурожаями.

У меня начинает болеть голова. Не метафорически. Настоящая, тупая боль за правым виском, будто кто-то вбивает туда гвоздь маленькими, точными ударами. Слишком много. Слишком быстро. Слишком много ожиданий, обрушившихся на пятнадцатилетние плечи за один завтрак.

Я отступаю от стола.

— Можно я... — начинаю я, но никто не слушает. Отец обсуждает с Олафом детали, мама уже мысленно упаковывает мои вещи. Я существую здесь как концепция, как инвестиция, как будущий доход, а не как человек с головной болью и страхом в груди.

Поворачиваюсь и ухожу. Просто так. Через заднюю дверь, в сад, а оттуда — на улицу. Никто не окликает меня. Они слишком заняты планированием моей жизни без моего участия.

Библиотека. Так я называю дом тети Шейлы, хотя библиотекой он не является. Это просто дом. Деревянный, скрипучий, пахнущий старой бумагой и сушеными травами. Но внутри — книги. Сотни их. Может, тысячи. На полках, на столе, на подоконниках, даже на полу аккуратными стопками.

Муж тети Шейлы был магом. Столичным магом, пока его не выгнали за то, что он помог женщине с ребенком избежать наказания за воровство в придворном хранилище. Помог и не пожалел. Прожил с этой женщиной — тетей Шейлой — тридцать семь лет и умер от неизвестной болезни, когда мне было восемь. После этого тетя Шейла закрылась в себе. Ее дочь уехала учиться в город — хорошее образование, дар перемещения предметов в пространстве, — и больше не возвращалась.

А потом появилась я. Без друзей. Необщительная. Дети деревни держались от меня на расстоянии — отец-то глава, живем чуть лучше, значит, мы другие. Чужие. Я не спорила. Быть чужой проще, чем пытаться вписаться.

В тот день тетя Шейла сидела в саду. На скамейке под яблоней, с книгой на коленях. Солнце играет в ее седых волосах, но лицо у нее грустное. Не плачет. Просто смотрит в книгу и не видит букв.

Мне становится интересно. Что может грустить в такой прекрасный день? Книга? Или что-то другое?

Я приношу табуретку из кухни, ставлю ее к забору, залезаю. Вижу только макушку ее головы — седые волосы, собранные в небрежный узел. Пытаюсь подняться выше, опираясь на верхнюю перекладину забора.

Перекладина трещит. Табуретка шатается. И дальше — закон гравитации, неумолимый и беспощадный.

Я падаю. Громко. Очень громко. И кричу — не от боли сразу, а от неожиданности, от того, как быстро земля приближается к лицу.

Лежу на спине, смотрю в небо, и небо такое голубое, что больно глазам. А потом боль приходит — колени, левый локоть, горячие, жгучие, знакомые.

Надо мной появляется лицо. Морщинистое, доброе, с глазами, которые смеются, пока рот говорит строгие слова.

— Девочка, если уж подглядываешь, делай это тихо. А лучше — просто постучи в дверь.

Тетя Шейла. Она наклоняется, берет меня за руку — аккуратно, обходя царапины, — и помогает подняться.

— Пойдем, обработаем эти ссадины. У меня есть мазь, муж делал. Отлично помогает.

И она улыбается. Настоящей улыбкой, не вежливой, не вынужденной. И я не могу отказаться. Не хочу.

В доме пахнет травами и старой древесиной. Тетя Шейла усаживает меня на стул, достает из шкафа маленькую глиняную баночку, накладывает мазь на мои колени. Прохладная, пахнет мятой и чем-то горьким. Боль сразу отступает, превращается в легкое жжение.

— Спасибо, — говорю я, и голос звучит тише, чем хотелось.

— Не за что. — Она закрывает баночку, ставит на полку. Шейла решела удовлетворить мое любопытсво, которое так и сочилось из меня, и не дожидаясь моего вопроса рассказала о книги которую читала. Это был роман о запретной любви наследного принца и деревенской девушки. Старая история, которую я слышала в десятке вариаций, но тетя Шейла рассказывает ее так, будто была там. Будто стояла в тени дворцовых колонн и видела, как принц впервые замечает девушку. Как их пальцы случайно касаются друг друга над чашей с вином. Как они говорят ночами у открытого окна, пока стража дремлет на посту.

Она рассказывает страстно. Красиво. Каждое предложение — как мазок кисти на холсте. Я сижу, забыв про боль в коленях, и слушаю. Глаза горят. Сердце бьется быстрее.

Родители научили меня читать рано. Отец считал грамотность признаком хорошего воспитания, мама просто любила, когда я сижу тихо с книгой. Но это... это другое. Это не чтение. Это проживание.

Когда тетя Шейла заканчивает — а заканчивает она на самом драматичном моменте, конечно, — в комнате наступает тишина. Такая густая, что ее можно резать ножом.

Я набираю воздуха. Выдыхаю. Снова набираю.

— Тётя Шейла, а можно я тоже прочитаю эту книгу?

Всё, на что хватило смелости. Один вопрос, от которого зависит всё.

Она смотрит на меня. Долго. И потом — эта улыбка. Теплая, как печка зимним утром.

— Конечно, милая. Кому, как не тебе, можно читать все эти книги, ведь после смерти мужа они пылятся на полке и лежат без дела. — Она проводит рукой по корешкам на ближайшей полке, и в ее движении есть что-то нежное, почти прощальное. — Можешь брать любую книгу, когда захочешь, пока есть на это время.

Вопрос вырывается сам, прежде чем я успеваю его обдумать.

— А может ли это время когда-нибудь закончиться?

Тетя Шейла замирает. Ее лицо меняется — не резко, а плавно, как вода темнеет при приближении шторма.

— Как не прискорбно об этом говорить, но это так. Например: во-первых, я могу умереть, и тогда книги отберут и отвезут в городскую библиотеку. Во-вторых, у тебя может обнаружиться сильный магический дар, и ты уедешь в город, как моя дочь, и, скорее всего, больше не вернёшься.

Обе возможности кажутся мне ужасными. Не абстрактно ужасными, а конкретно, физически — будто кто-то сжал мне горло. Я хмурюсь. На лбу появляется складка, которую мама всегда пытается разгладить пальцами.

— А кто тогда будет приходить к вам в гости?

Вопрос ранит ее. Я вижу это по тому, как ее глаза на мгновение темнеют, а губы слегка подрагивают. Но потом она улыбается — мягко, с какой-то материнской покорностью.

— Не беспокойся обо мне. У тебя есть семья и своя жизнь. Не обращай внимания на давно устаревшую старуху.

Она говорит это так, будто отдает мне последнюю монету, зная, что сама останется голодной. Щедрость, которая больно режет.

Дни идут. Я прихожу к тете Шейле почти каждый день. Сажусь в ее кресле — большом, кожаном, с вытертыми подлокотниками, — и читаю. В основном романы. Истории о любви, о приключениях, о далеких землях, которых я никогда не увижу.

Но есть и другие книги. Те, что принадлежали ее мужу. Трактаты по теории маны, руководства магии, описания известных даров и их проявлений. Я читаю их с тем же жадным интересом, что и романы, хотя понимаю лишь половину.

И чего-то учусь. Небольшие трюки. Нагреть воздух до температуры, достаточной, чтобы поджечь сухую траву. Передвинуть легкий предмет — перо, монету, спичку — на несколько дюймов без прикосновения. Ничего впечатляющего. Ничего, что сравнилось бы с настоящими дарами. Но мои сверстники не могут и этого. Они смотрят на меня с смесью зависти и недоверия, когда я демонстрирую эти фокусы на деревенской площади.

А потом наступает тот день. День шара. День «Начертания». День, когда всё меняется.

Я сижу в кресле тети Шейлы, обхватив колени руками, и смотрю в окно. За окном — яблоня, та самая, под которой она сидела с книгой в день моего падения. Теперь на ней зеленые, неспелые плоды, твердые и кислые.

— Итак, какой у тебя дар? Что показал этот шар? — спрашивает тетя Шейла. Она сидит напротив, в своем кресле-качалке, и вяжет что-то большое и бесформенное. Руки движутся автоматически, годы практики.

— «Начертание». Говорят, что он очень полезен и может быть связан с созданием артефактов.

Я произношу это ровным голосом, без энтузиазма. Как будто рассказываю о погоде.

Тетя Шейла останавливает спицы. Смотрит на меня поверх очков.

— Ты же понимаешь, что, скорее всего, это твой последний день в деревне, может, ты пойдёшь к своим родителям и проведёшь это время с ними?

Грусть на ее лице. Настоящая, несокращаемая грусть, которую не спрячешь за улыбкой или шуткой.

— Знаю.

И тут она прорывается — тоска, которую я держала где-то глубоко, под ребрами, с самого утра, с момента, когда мама сказала «выходное белое платье». Она вырывается наружу, заполняет горло, давит на глаза.

— Но я буду очень скучать по вам и по этому прекрасному месту. Дома мне не так хорошо. Отец меня не понимает. Он воспитывает не дочь, а будущего главу деревни, а мне этого не хочется. Мама меня любит, но я не могу говорить с ней открыто и откровенно, не могу обсудить то, что мне нравится. Она строга и закрыта для меня.

Слова выходят быстро, беспорядочно, как вода через прорванную плотину. Я не планировала этого говорить. Не думала, что эти мысли вообще сформулированы где-то внутри меня. Но они есть. Живут там, в темноте, и ждут своего часа.

Тетя Шейла слушает. Не перебивает. Не предлагает решений. Просто слушает, и в этом слушании есть такая сила, что мои собственные слова отдают эхом, становятся реальнее, весомее.

А потом я встаю. Подхожу к ней. Обнимаю.

Она пахнет старой бумагой, сушеными яблоками и чем-то неуловимым — своим, уникальным, Шейлой. Ее руки — тонкие, костлявые — обнимают меня в ответ, и я чувствую, как она дрожит. Слегка. Почти незаметно.

— Я буду скучать по вам.

— Я тоже.

Она выпускает меня из объятий. Разворачивает на сто восемьдесят градусов — аккуратно, бережно, — и слегка подталкивает к двери.

— А теперь иди домой, обними маму, раздели трапезу с отцом и выгляди уверенно. Думаю, им так будет легче расстаться с тобой. Я уверена.

Ее глаза. На секунду — всего на секунду — в них появляется влага. Не слезы. Что-то более сдержанное, более взрослое. Взгляд человека, который слишком много раз прощался, чтобы позволить себе роскошь рыданий.

Я не говорю ничего. Не могу. Просто бегу. По улице, мимо домов, мимо деревенской площади, где уже собрались люди — должно быть, священник тестирует других детей. Бегу, и земля под ногами кажется чужой, как будто я уже оторвалась от нее, уже в пути, уже не здесь.

Дома мама уже собирает мои вещи. Большая кожаная сумка на столе, и она методично, аккуратно укладывает туда платья, нижнее белье, пару книг — тех, что я читала дома, не из библиотеки тети.

— Эм, почему ты стоишь? Помоги мне.

Голос усталый. В нем нет радости, нет торжества. Есть решимость. Та самая, что позволяет женщинам переживать самые тяжелые дни — день за днем, без жалоб, без пауз.

— А мне точно нужно туда ехать? Может, я не хочу?

Слова выходят тихими, неуверенными. Я знаю ответ. Знаю его еще до того, как мама поворачивается ко мне, и я вижу ее лицо — уставшее, любящее, непреклонное.

— Конечно, нужно. Ты ещё спрашиваешь? — Она говорит это так, будто решение приняла я. Будто они всего лишь поддерживают мой выбор, мое стремление, мою мечту. — Это такой шанс, которого не было ни у меня, ни у твоего отца. Ты станешь лучше в академии, я уверена.

— Да. Как скажешь, мама.

Я помогаю ей упаковывать. Складываю платья, завязываю шнурки на ботинках, проверяю, нет ли дыр в носках. Механические действия, не требующие мысли. Мысли где-то далеко, в библиотеке тети Шейлы, под яблоней, на табуретке у забора.

Возвращается отец. Со священником. Оба усталые, отец — сияющий, Олаф — разочарованный.

— Ну, что-то в этот раз молодёжь подкачала, кроме вашей дочери ни одного таланта. Это очень странно.

Отец сияет еще ярче. Его дочь — исключение. Единственная одаренная в целой деревне. Он гордится так явно, что это почти физически ощутимо — как тепло от костра.

— Ну, не с пустыми руками возвращаться всё же, — говорит Олаф и смотрит на нас с мамой. Взгляд оценивающий, профессиональный. Как торговец, рассматривающий товар.

— Видите, моя дочь уже готова. Она явно рада тому, что сможет помочь нашему королю.

— Да, да, отец. Я очень рада.

Я говорю это ровным голосом, глядя в пол. Но Олаф замечает. Я чувствую его взгляд на себе — внимательный, проницательный. Он видит. Видит недовольство, страх, сопротивление, сочащиеся из каждого моего поры.

Но он ничего не говорит. Просто достает из складок своей одежды мешок. Небольшой, из плотной ткани, поющую от монет.

— Ну что ж, вот вам плата за вашего одаренного ребенка.

Он протягивает мешок отцу. Отец берет его, взвешивает на ладони, и на его лице появляется выражение, которое я никогда раньше не видела. Не просто радость. Облегчение. Как будто камень свалился с плеч. Как будто он только что выиграл в лотерею, о которой даже не мечтал.

— Спасибо, святой отец. Мы верим, что наша дочь оправдает ваши ожидания.

Я стою и смотрю на этот обмен. Мешок с монетами. Моя будущность. Прямая трансакция, чистая и простая.

Меня продали.

Не в рабство. В лучшую жизнь, как они считают. В академию, в столицу, в мир возможностей, которых у них никогда не было. Они продали меня из любви. Из надежды. Из отчаяния.

От этого не легче.

Меня погружают в карету. Мою кожаную сумку — ту самую, что мама собирала с такой тщательностью — ставят рядом. Олаф садится напротив. Евнухи — на козлах, один управляет лошадьми, другой держит на коленях ту самую коробку с шаром.

Мы трогаемся. Я смотрю в маленькое окошко кареты и вижу, как деревня уплывает. Дом. Мама на крыльце, машет рукой. Отец рядом, рука на ее плече. Тетя Шейла — нет, ее не видно. Она осталась в своей библиотеке, с книгами и яблоней.

Я не плачу. Просто смотрю, пока деревня не превращается в точку, а потом и точка исчезает за поворотом дороги.

Поездка занимает три месяца. Три долгих, утомительных месяца остановок в деревнях, тестирований, разочарований священника. Ни одного полезного дара. Ни одного ребенка, достойного академии.

Но девочек он забирает. Из разных деревень, разных семей. Девочек с дарами «Невидимость» (очень слабая, работает только в сумерках), «Ускоренный рост растений» (только бобовых культур), «Чистый голос» (на самом деле обычный голос, просто родителям хотелось верить). Ничего ценного. Ничего, что оправдало бы их отрыв от дома.

Но он забирает их. Каждую. С той же процедурой: мешок монет родителям, благословение, погрузка в карету.

По дороге я узнаю, как работает система. Расспрашиваю евнухов — они немногословны, но не немы, — сопровождающих священников, случайных попутчиков на постоялых дворах.

Дети с дарами, которые не могут позволить себе обучение, переходят под опеку священника, обнаружившего дар. Опекунство. Звучит благородно. На деле — бизнес. За каждого одаренного ребенка священник получает высокое жалование от церкви. Чем «полезнее» дар, тем выше плата. Чем больше детей под опекой, тем выше положение священника в церковной иерархии.

Старший отец, говорят, имеет под опекой более ста одаренных детей. Сто мешков монет. Сто карьерных ступеней.

Я не удивляюсь. После продажи удивление — роскошь, которую я не могу себе позволить.

И вот мы прибываем. Не в монастырь. Не в церковь. В поместье.

Особняк святого отца Олафа стоит на холме за пределами города. Огромный, каменный, с колоннами и остроконечными крышами. Размером с десять, нет, пятнадцать моих деревенских домов, поставленных друг на друга. Окна высокие, узкие, с витражами, отбрасывающими на внутренние стены разноцветные пятна света.

Евнухи помогают мне выйти из кареты. Ноги затекли от долгого сидения, и я пошатываюсь, опираясь на косяк двери.

Внутри пахнет ладаном и старой древесиной. Полы из полированного камня, холодные даже через подошвы ботинок. На стенах — картины. Религиозные сцены, портреты святых, изображения шаров Аврама в сияющих ореолах.

Олаф ведет меня по длинному коридору. Его шаги эхом отдаются от каменных стен.

— Твоя комната на втором этаже. Там уже есть другие девочки. Ты познакомишься.

Голос его все такой же спокойный, вежливый. Но что-то изменилось. Исчезла теплота, которая была за завтраком в нашем доме. Осталась только профессионализм. Эффективность.

Он останавливается у двери. Открывает ее.

Комната большая. С кроватями — несколькими, расставленными вдоль стен. На кроватях сидят девочки. Разного возраста, от двенадцати до, может, семнадцати. Все в одинаковых простых платьях. Все с одинаковыми пустыми глазами.

Одна поднимает на меня взгляд. Держит его секунду, две. Потом отводит.

— Это Эмили, — говорит Олаф. — С даром «Начертание». Познакомьтесь.

Никто не отвечает. Никто не улыбается. Просто смотрят — или не смотрят — каждый в свою точку на стене, на полу, на собственных руках.

Олаф кладет руку мне на плечо. Легко, почти невесомо.

— Отдыхай. Завтра начнем подготовку к академии.

Он уходит. Дверь закрывается за ним с мягким щелчком.

Я стою посреди комнаты, с кожаной сумкой у ног, и смотрю на этих девочек. На их пустые глаза. На их сжатые губы. На их руки, лежащие на коленях — неподвижные, покорные, как у хорошо дрессированных животных.

И понимаю, что служители церкви не всегда бывают добрыми.

Иногда они просто ужасны.

# Глава 1.2 – Детство Алана

Я просыпаюсь позже обычного. Солнце уже пробивается через щели в ставнях, рисует на полу длинные золотые полосы. В доме тихо. Слишком тихо.

Родителей нет. Как всегда.

Отец уже на рубке – встает до рассвета, возвращается после заката. Мать – где-то на огороде или у соседей, помогает за еду или мелкие услуги. Так и живем. Так живут все в Ривен Роуд, кроме главных семей, у которых дома побольше и дров в достатке.

Начинаю утренние процедуры. Разминаю руки, ноги, шею. Тело скрипит, как не смазанная дверная петля. Спина ноет от жесткой кровати – матрас набит соломой и старой одеждой, через год-другой становится тонким, как блин. Нужно будет перебить. На следующей неделе. Или через месяц.

Наш дом мал. Одна комната на троих. Деревянные стены, темные от дыма и времени. Пол – грубые доски, кое-где прогнившие, но отец латает их по мере сил. Одно окно с деревянными ставнями. Печь в углу, обложенная камнями. Стол посредине, три табуретки вокруг него. Моя кровать за занавеской из старой мешковины.

Отец говорит: чем меньше дом, тем меньше дров нужно для отопления. Это правда. Зимой мы спим вплотную друг к другу, деля тепло под одним одеялом. Летом – кто где уляжется. Я за занавеской, родители на своей кровати.

Но думаю, дело не только в дровах. Просто отец не мог позволить себе больший дом. Лесоруб в Ривен Роуд – не карьера. Это выживание. День за днем, дерево за деревом, монета к монете.

Тазик с водой стоит на полу у двери. Мать оставляет его каждое утро, прежде чем уйти. Вода холодная, пахнет железом и чем-то земляным. Я умываю лицо, шею, руки. Вода стекает по коже, смывая сон, оставляя вместо него ясность. Холодную, неумолимую ясность.

На столе – завтрак. Вареные овощи – картофель, морковь, что-то еще, неопределенное под слоем пара. Хлеб – темный, плотный, домашний. Никаких специй. В нашей деревне специи – роскошь, которую могут позволить себе разве что по большим праздникам.

Сажусь. Ем. Вкус знакомый до зубной боли. Картофель мучнистый, морковь сладковатая, хлеб кислый. Мать старается. Всегда старается. Даже когда нет ничего, кроме картофеля и воды, она как-то умудряется сделать так, что это не похоже на наказание.

Выглядываю в окно. Снимаю деревянную задвижку, откидываю ставню.

Деревня оживает. Люди сбегаются к центральной площади – редкое зрелище в нашей глуши. Обычно жизнь течет размеренно. Никуда не нужно спешить. Утро – работа, день – работа, вечер – ужин и сон. Цикл, повторяющийся изо дня в день, из года в год.

А сегодня – что-то происходит. Что-то, что заставляет людей оставить поля, огороды, мастерские и идти к площади. Быстро. Неторопливо, но целенаправленно.

Я доедаю завтрак. Обмакиваю последний кусок хлеба в овощной бульон, отправляю в рот. Встаю. Надеваю ботинки – кожаные, потертые, с дыркой на левом носке, которую мать залатала куском более прочной кожи.

Выношу тарелку на крыльцо, оставляю там. Вернусь вечером, помою.

Сажусь на лавку у двери. Дерево теплое от утреннего солнца. Под ногами – пыльная тропинка, ведущая к главной улице. Дальше – дома соседей, крытые соломой или дранкой. За ними – поля, а за полями – лес, где работает отец.

Думаю о городе.

Итак, я решил переехать в город. И точка.

Хорошо, что меня никто не слышит. Соседи подумали бы, что я спятил. Сын лесоруба, один из самых бедных в деревне, мечтает о столице. Смешно. Глупо. Нелепо.

Но я не смеюсь. Сижу на лавке и обдумываю варианты. Как? С чем? На какие деньги? Работать грузчиком на пристани в Арнерсте? Научиться какому-нибудь ремеслу? Украсть лошадь и ускакать в закат?

Ни один вариант не кажется реалистичным. Все требуют чего-то, чего у меня нет. Денег. Связей. Удачи.

А потом меня отвлекает крик. Громкий, радостный, несущийся со стороны главной улицы.

— Алан! Эй, Алан!

Орстан.Мой друг. Единственный человек в деревне, который не считает меня странным. Или считает, но ему все равно.

Он бежит ко мне. Бежит так, будто за ним гонится медведь, хотя вокруг никого нет. Длинные ноги, широкие плечи, растрепанные волосы. Руки размахивают в такт бегу, как крылья ветряной мельницы.

— Что сидишь? Идем на площадь — там что-то происходит!

Голос срывается от возбуждения. Лицо раскрасневшееся, глаза горят. Орстан всегда такой – весь мир для него одно большое приключение, которое нельзя пропустить.

Я встаю с лавки. Смотрю на его траекторию и понимаю, что случится через три секунды.

— Осторожно, там дядя Берн вчера копал ливневку...

Не успеваю договорить. Орстан, не сбавляя скорости, наступает правой ногой прямо в канаву. Канава глубокая, метра полтора, вырытая для стока дождевой воды. Черная земля, влажная еще от вчерашнего дождя.

Он падает. Не просто падает – летит вперед, руки вытянуты, как у пловца, и врезается лицом в землю. Носом. Полностью. Пропахивает чернозем на добрых два метра, оставляя за собой ровную борозду, как плуг.

Я замираю. Смотрю. Жду крика, стонов, хотя бы возмущения.

Ничего. Тишина. Только легкий хлюпающий звук, когда Орстан поднимает лицо из грязи.

Он встает. Медленно, не торопясь, как будто просто решил полежать на земле и теперь поднимается продолжить день. Весь в грязи. Лицо – сплошное темное пятно, из которого торчат только глаза и зубы, сверкающие в улыбке.

Я подбегаю к нему. Осматриваю. Руки, ноги, голова – все на месте. Ни крови, ни синяков, ни даже царапин. Только грязь. Килограммы грязи, прилипшей к коже, одежде, волосам.

— Ты цел?

— Да, цел. — Он отряхивает руки, и с них сыплются комья черной земли. — Не на камни у утёса падать, жить буду.

Говорит это так спокойно, так буднично, словно обсуждает погоду. Ни тени беспокойства. Ни грамма страха.

— И никаких видимых повреждений. Только лицо в грязи.

Констатирую факт. Для обычного человека падение лицом в канаву с последующим скольжением по земле закончилось бы как минимум сломанным носом, выбитыми зубами, разорванными губами. Для Орстана – очередной вторник.

Он мог бы быть сильнейшим парнем в деревне. С его телосложением – широкие плечи, мощные руки, рост под метр девяносто – он мог бы задирать всех подряд, как некоторые из наших сверстников. Мог бы стать деревенским тираном, которого все боятся и уважают.

Но нет. У Орстана мягкое сердце и очень добрая душа. Настоящий комсомолец, как говорят старшие. Всегда готов помочь, всегда улыбается, всегда видит хорошее даже в самой отвратительной ситуации.

— Бежим, иначе начнут без нас, — говорит он, уже делая шаг в сторону площади.

Я смотрю на него и чувствую, как что-то подкатывает к горлу. Раздражение? Усталость? Или просто нежность к этому огромному, неуклюжему, бесконечно доброму идиоту?

— А ты хоть отряхнись. Весь в пыли и глине.

Бью себя ладонью по лбу. Орстан останавливается, смотрит на себя, как будто впервые замечает состояние своей одежды, и начинает отряхиваться. Грязь летит во все стороны, покрывая мои ботинки, штаны, часть крыльца.

— Хорошо, хорошо. Ал, а тебе не говорили, что ты очень нудный?

Спрашивает это с такой искренней непосредственностью, что я не могу даже обидеться. Просто качаю голову.

— Каждый день напоминают.

Помогаю ему отряхнуться – насколько это вообще возможно. Вытираю крупные комья грязи с его спины, рукавов, шеи. Лицо пытаемся протереть краем его же рубашки, но получается только хуже – грязь размазывается, превращаясь в равномерный серо-черный слой.

В конце концов сдаюсь. Пусть будет так. В Ривен Роуд на чистоту одежды никто не смотрит. Главное – быть целым и невредимым. А с этим у моего друга проблем нет.

Идем к площади. Он – впереди, широкими шагами, я – следом, стараясь не отставать. Дорога пыльная, солнце уже высоко, воздух прогрелся и пахнет травой, навозом, дымом из печных труб.

Площадь. Небольшое пространство посреди деревни, вымощенное грубым камнем. Обычно здесь никого нет – разве что по праздникам, или когда нужно собраться всем миром для какого-нибудь важного решения.

Сегодня здесь человек двадцать. Может, тридцать. Взрослые, дети, несколько стариков на скамейках у края. Все смотрят в одну точку – центр площади, где стоит...

Священник.

Высокий, худощавый, в длинной белой рясе, которая кажется слишком чистой для нашей пыльной деревни. Рядом с ним – два евнуха. Большие, неподвижные, с пустыми глазами, держащие между собой массивную деревянную коробку с металлическими уголками.

А перед священником – шар. Круглый, немного мутный, с царапинами на поверхности. Внутри – слабый зеленый свет, мерцающий, как светлячок в банке.

Шар Аврама. Настоящий. Не легенда, не сказка, не вымысел – реальный артефакт, который раз в пятнадцать лет привозят в нашу глушь, чтобы проверить, нет ли здесь случайно кого-то одаренного.

Люди подходят по одному. Кладут руку на шар. Ждут несколько секунд. Смотрят на поверхность, где должно появиться название их дара. И уходят. Большинство – с разочарованными лицами. Ничего интересного. Никакого магического потенциала.

Я стою с Орстаном на краю толпы и наблюдаю. Шар Аврама. Я читал о нем в книгах, которые удавалось достать – старых, потрепанных, переписанных от руки. Артефакт, созданный самим святым Аврамом. Один из семи, разосланных по главным городам королевства. Символ новой эры, как говорил Аврам. Эры, когда каждый будет знать свою природу и сможет жить в соответствии с ней.

Выглядит... обыденно. Просто шар. Старый, поцарапанный, ничем не примечательный. Если бы не тот слабый зеленый свет внутри, его можно было бы принять за обычный каменный шар, который дети используют для игр.

— Неужели это шар Аврама? — спрашиваю я больше для себя, чем для Орстана.

Он пожимает плечами.

— Не знаю. Как очередь до нас дойдёт, так и узнаем.

Очередь движется быстро. Каждый контакт занимает секунд десять-пятнадцать. Рука на поверхности, пауза, чтение результата, следующий. Механически. Эффективно. Без эмоций.

И вот – наша очередь. Стоим перед священником, и я вдруг понимаю, что ничего не чувствую. Ни страха, ни надежды, ни даже любопытства. Просто стою и жду, когда это закончится, чтобы можно было вернуться домой и заняться чем-нибудь полезным.

— Процедура, кажется, быстрая. Давай ты первый, а я посмотрю.

Подталкиваю Орстана вперед. Часть меня хочет посмотреть, как это работает, прежде чем самому испытать. Другая часть – просто тянет время.

Орстан не возражает. Никогда не возражает. Подходит к священнику уверенной походкой, выпрямив спину, подняв подбородок. Как будто идет не на тестирование, а на парад.

— Клади руку на шар, дитя.

Священник спокоен. Вежлив. Голос ровный, без эмоций. Он произносит эту фразу в двадцатый раз за утро, и в его тоне нет ни усталости, ни раздражения. Профессионализм.

Орстан кладет ладонь на шар. Шар реагирует почти мгновенно – зеленый свет внутри вспыхивает ярче, и на поверхности появляются буквы. Четкие, ясные, написанные тем же зеленоватым светом.

Крепкое тело.

— «Крепкое тело» — это у меня? — Орстан смотрит на надпись, затем на священника, затем снова на надпись. Его лицо выражает смесь недоумения и радости. — Это звучит... неплохо?

Священник улыбается. Впервые за все время, что я его наблюдаю, на его лице появляется настоящее выражение – не вежливая маска, а искренняя, почти отеческая улыбка.

— Неплохо? Юноша, это один из самых ценных даров для военной службы. Неуязвимость, выносливость, сила – все в одном. — Он кладет руку на плечо Орстану, и в его глазах появляется что-то новое. Уважение. Признание. — Мы ждем тебя в королевской военной академии. Там тебе дадут рекомендацию. Дальше – все зависит от тебя.

Орстан замирает. На секунду – всего на секунду – его вечное, непоколебимое спокойствие дает трещину. Я вижу, как что-то проносится по его лицу. Удивление. Гордость. Страх. Надежда. Все сразу, смешанные в одном выражении.

А потом – он преображается. Выпрямляется еще больше, подбородок вздергивается, плечи расправляются. Рука взлетает к виску в идеальном салюте.

— Есть, сэр!

Голос громкий, четкий, не оставляющий сомнений. Голос солдата. Голос человека, который только что нашел свое место в мире.

Священник кивает, удовлетворенный, и поворачивается ко мне.

— Ты следующий.

Я подхожу. Шар передо мной. Теплый, живой, мерцающий изнутри этим странным зеленым светом. Кладу на него руки. Обе. Ладони полностью на поверхности, пальцы слегка разведены.

Ощущение странное. Не боль, не дискомфорт – скорее, навязчивость. Как будто кто-то залез мне под кожу и перебирает там что-то. Ищет. Копается. Нетерпеливо, настойчиво.

А потом – буквы. Появляются одна за другой, выписываясь на поверхности шара тем же зеленым светом.

Созидание.

Я смотрю на это слово. Читаю его. Перечитываю. Пытаюсь понять, что оно значит. Созидание. Создание. Творение. Ничего конкретного. Ничего, что можно было бы применить здесь и сейчас. Ничего, что открывало бы дорогу в академию, как у Орстана.

Священник смотрит на надпись. Его брови слегка сдвигаются. На лбу появляется легкая складка – почти незаметная, но я ее вижу. Он читает слово, затем смотрит на меня, затем снова на слово.

— Святой отец, что это за навык и что мне с ним делать?

Спрашиваю ровным голосом. Без надежды, без разочарования. Просто констатация факта: я не понимаю, объясните.

Священник медленно качает головой. Его лицо снова становится профессионально-нейтральным, но в глазах – что-то другое. Не раздражение. Не пренебрежение. Скорее... растерянность. Как будто он столкнулся с чем-то, чего не ожидал и не знает, как обработать.

— Не могу сказать. — Голос тихий, почти мягкий. — Но я знаю, что твой дар не пригодится в военном или магическом деле. Поэтому я не смогу помочь тебе. Тебе придется самому понять, как и где его использовать.

Кладет руку мне на голову. Произносит что-то – благословение, наверное, или ободряющие слова. Я не слушаю. Стою под его рукой и смотрю на шар, где все еще светится это слово. Созидание. Бесполезное. Непонятное. Никому не нужное.

Он убирает руку. Поворачивается к следующему в очереди – мальчишке лет двенадцати, который уже тянется к шару с нетерпением.

Я отхожу. Орстан ждет меня на краю площади, все еще сияющий, все еще не верящий в свою удачу. Увидев мое лицо, он замолкает. На его лице появляется понимание – тихое, серьезное, не по-детски взрослое.

— Что там? — спрашивает он мягко.

— Ничего особенного. Пойдем домой.

Он не спрашивает больше. Просто кладет руку мне на плечо – тяжелую, теплую, покрытую остатками высохшей грязи, – и мы идем обратно по пыльной дороге. Он – мечтая о военной академии, о мундире, о карьере. Я – пытаясь понять, что значит «Созидание» и почему это звучит так... пусто.

Возвращаюсь домой. Мать на кухне – мечется между печью и столом, одновременно готовя ужин и убирая посуду после завтрака. Руки в муке, на лбу испарина. Увидев меня, она останавливается. Смотрит. Читает мое лицо, как открытую книгу.

— Сынок, как у тебя дела? Что выдал шар Аврама?

Голос осторожный. Она уже знает ответ – или догадывается, но спрашивает. Из вежливости.

— Ничего особенного, мам. Этот шар только добавил проблем.

Отвечаю быстро, без эмоций. Прямо как священник – профессионально, эффективно, без лишних слов.

Мать смотрит на меня еще секунду. Затем кивает – один раз, коротко, – и возвращается к готовке. Переворачивает что-то на сковороде. Перекладывает тарелки.

— Судя по твоему виду, я поняла, что твой навык не пригодится нам, в деревне. Да и видно, что он не понравился святому Отцу.

— Точно, мам. Вот почему мне не досталась какая-нибудь сила, разум или крепкое тело, как у Орста. Было бы понятнее, как это использовать.

Говорю это, прислонившись к дверному косяку. Смотрю, как ее руки движутся – быстрые, точные, годами отточенные движения женщины, которая научилась делать многое из ничего.

— Да, твоему другу с навыком явно повезло. Он сможет пойти в военную академию или остаться в деревне и быть хорошим работником. — Она поднимает на меня взгляд, и в ее глазах – что-то твердое, непоколебимое. Не надежда. Уверенность. — Но я верю, что твой дар тоже полезен. И ты сможешь его правильно применить.

— Как скажешь.

Поворачиваюсь, чтобы выйти во двор. Что-то щемит в груди – не боль, не печаль. Просто... тяжесть. Ощущение, что мир только что сузился до размеров нашей деревни и больше никогда не расширится.

Через несколько минут возвращается отец. Входит в дом – тяжело, устало, сгорбившись под невидимым грузом. Руки в мозолях, одежда в опилках и смоле. Видит меня. Останавливается. Смотрит.

И ничего не спрашивает.

Просто смотрит. Читает мое лицо так же легко, как мать. Видит разочарование. Видит сдержанность. Видит то, что прячется за всем этим – любопытство. Нетерпение. Жажду понять, что же это такое, это «Созидание», и почему оно досталось именно мне.

Он кивает. Один раз. И идет мыть руки в тазике у двери.

Вечерняя трапеза проходит в тишине. Картофель, хлеб, немного сыра – дорогое удовольствие, которое мать позволяет себе раз в неделю. Едим молча. Отец – быстро, практично, без удовольствия. Мать – медленно, обдумывая каждый кусок. Я – автоматически, не чувствуя вкуса.

Тушим свечи. Ложимся спать. Отец и мать – на своей кровати, я – за занавеской. Слушаю, как их дыхание выравнивается, становится глубоким, ритмичным. Слушаю, как отец слегка похрапывает – тихо, почти неслышно, привычка многолетней усталости.

Жду. Считаю в уме. Раз, два, три... до ста. До двухсот. До пятисот.

Они спят.

Поднимаюсь с кровати. Осторожно, по одному движению, как учат воровать яблоки в чужих садах. Занавеска не шелестит – я смазал кольца жиром месяц назад именно для этого. Пол не скрипит – знаю каждую доску, каждую слабину, каждый безопасный маршрут.

Окно. Не дверь – дверь массивная, скрипучая, разбудит половину дома. Окно узкое, но я худой. Проскальзываю в него, как угорь в расщелину, и оказываюсь снаружи. Ночь. Холодная, ясная, полная звезд. Воздух пахнет травой и далеким дымом.

Бегу.

Дорога знакома до каждого камня. Тропинка от нашего дома к окраине деревни, затем – в поля, затем – в сторону утесов. Тридцать минут бега. Раньше занимало больше – бежал, спотыкался, останавливался перевести дух. Теперь – автоматом. Ноги сами несут меня по знакомому маршруту, пока мозг занят другими мыслями.

Убежище таинственного конструктора. Так я его называю. Хотя «таинственный» – это громко сказано. Просто заброшенная лаборатория какого-то инженера, которую мы с Орстаном нашли три года назад.

Нашли случайно. Разожгли костер у подножия холма, чтобы погреться после купания в реке. Костер разгорелся, дым поднялся... и пошел не вверх, а в сторону. Против ветра. Против всех законов физики, которые я тогда знал.

Я заметил это первым. Орстан возился с палкой, пытаясь поджарить на ней кусок хлеба, а я смотрел на дым и думал: что-то не так. Дым должен подниматься вертикально. Или, по крайней мере, по ветру. А этот шел куда-то вбок, к груде камней у основания холма.

Значит, за камнями – пустота. Пещера. Или комната. И в ней – сквозняк. Либо есть второй вход, либо система вентиляции.

Мы с Орстаном начали разбирать завал. Камень за камнем, аккуратно, чтобы не обрушить все сразу. Через час проход был готов – достаточно широкий, чтобы двое детей могли пролезть внутрь.

И мы пролезли.

Я до сих пор помню тот момент. Темнота. Запах старого дерева, металла, чего-то химического, чего я тогда не мог определить. Я высек огниво – слабый, дрожащий огонек осветил...

Лабораторию.

Не комнату. Не пещеру. Лабораторию. Со столом – нет, с верстаком, огромным, массивным, из темного дерева. С полками, забитыми инструментами, которые я никогда раньше не

видел. С стенами, увешанными чертежами – сотнями, тысячами листов, испещренных линиями, цифрами, пометками на полях.

Вращательная пила. Круглый диск с зубьями и деревянной ручкой. Ручная дрель – устройство с шестеренками и рукояткой, которое я позже узнал как коловорот. Напильники разных форм и размеров. Молотки, стамески, долота. Инструменты, о которых в нашей деревне никто не слышал. Все обработки материалов здесь делались магией – простой, грубой, эффективной. А здесь – чистая механика. Чистая инженерия.

Орстан почти сразу потерял интерес. Для него это было просто «крутое место, где можно прятаться». Для меня – откровение. Я начал приходить сюда каждый день. Изучать инструменты. Читать чертежи – плохо, с трудом, но читать. Пробовать. Ошибаться. Учиться.

И теперь это мое место. Мое убежище. Моя лаборатория.

Подхожу к завалу. Раздвигаю камни – оставил несколько подвижных, чтобы можно было быстро проникнуть внутрь. Проползаю в узкий проход. Встаю внутри.

Темно. Знаю, где лежит огниво. Нахожу его на ощупь, высекаю огонь, зажигаю масляную лампу – самодельную, собранную из обрезков, найденных в лаборатории.

Свет заполняет комнату. Верстак. Полки. Инструменты, разложенные по местам с военной точностью – я поддерживаю порядок, как настоящий хозяин. Чертежи на стенах – некоторые я уже снял, изучил, заменил собственными набросками.

Сажусь на табурет у верстака. Кладу руки на деревянную поверхность – гладкую, отполированную годами работы. Чувствую под пальцами шероховатости, царапины, следы долгой, преданной жизни.

Беру палку. Обычную палку, подобранную на улице неделю назад. Деревянная, прямая, примерно сантиметров тридцать в длину. Ничего особенного.

Кручу ее в руках. Стучу по верстаку – легонько, ритмично, просто чтобы занять руки. Смотрю на нее. Со всех сторон. Сверху, снизу, сбоку. Дерево. Просто дерево.

А потом...

Все пропадает.

Звуки сначала. Шуршание мышей за стенами. Шепот ветра в щелях. Собственное дыхание. Все стихает, как будто кто-то выключил звук мира.

Затем – свет. Масляная лампа гаснет. Комната погружается в темноту. Но не совсем – верстак остается. И я остаюсь. И палка в моих руках остается.

А на верстаке появляется пергамент. Чистый, белый, с ровными краями. И на нем – изображение. Точная копия палки, которую я держу. Рисунок такой детальный, что видна текстура дерева, сучки, мелкие трещины.

А под рисунком – текст. Четкий, разборчивый, написанный ровным почерком.

Палка. Материал – дерево. Масштаб – 1:10. Качество познания – 1 из 10.

Я моргаю. Пергамент исчезает. Звуки возвращаются – мыши, ветер, мое собственное сердце, бьющееся где-то в горле. Свет – масляная лампа снова горит, как ни в чем не бывало.

Сосредотачиваюсь. Снова. Смотрю на палку, держу ее перед глазами, не мигая, не отвлекаясь.

Тишина. Темнота. Верстак, я, палка. Пергамент.

На этот раз – не рисунок. Книга. Толстая, в кожаном переплете, лежащая на верстаке вместо пергамента. Открываю ее. Страницы – белые, чистые, и на них – тот же текст, но больше. Гораздо больше.

Палка. Материал – дерево (сосна). Познание – 2 из 10.

И дальше – информация. Структура материала. Происхождение – сосна, возраст примерно пять лет, выросла на северном склоне. Плотность. Твердость. Упругость. Способы обработки. Оптимальные углы реза. Температура горения. Теплопроводность.

Я читаю. Впитываю. Каждое слово, каждую цифру, каждую деталь. И с каждой секундой понимание растет. Не линейно – скачками. Рывками. Как будто кто-то перелистывает страницы в моей голове, и с каждым перелистыванием картина становится четче, полнее, объемнее.

К утру я достигаю познания 8 из 10.

Восемь из десяти. Почти полное понимание этого куска дерева. Я знаю о нем все – каждое волокно, каждую пору, каждую микротрещину. Знаю, как оно поведет себя под нагрузкой. Знаю, какой угол реза даст самую гладкую поверхность. Знаю, какую часть использовать для рукоятки, а какую – для лезвия.

Могу воссоздать его. Не просто скопировать – создать улучшенную версию. Оптимизированную. Идеальную.

И это работает не только с деревом. С камнем – попробовал на обломке с полки. С металлом – на старом гвозде. С каждым материалом – тот же процесс. Сосредоточение. Тишина. Темнота. И затем – знание. Растущее, углубляющееся, превращающееся в нечто большее, чем просто информация.

В мастерство.

Пока тренируюсь, делаю отцу топор. Беру обух от старого, сломанного топора, найденного в углу лаборатории. Беру кусок дерева – ясеня, твердого, упругого. И создаю.

Не собираю. Создаю. Руководствуясь тем знанием, которое теперь живет во мне. Оптимальная длина рукоятки – рассчитана под рост отца, под размах его рук, под вес обуха. Оптимальный угол заточки – для рубки сосны, которую он валит каждый день. Оптимальный баланс – чтобы рука не уставала после сотого взмаха.

Получается... идеально. Не идеально-красиво. Идеально-функционально. Топор, который режет лучше, легче лежит в руке, требует меньше усилий. Топор, который сделает работу отца проще, быстрее, безопаснее.

Конечно, мог бы сделать лучше. Материалы ограничены. Инструменты – самодельные, собранные из того, что нашел. Но и этого достаточно. Более чем достаточно.

Кладу топор на верстак. Смотрю на него еще раз – критически, профессионально, как настоящий инженер оценивает свою работу. Киваю. Доволен.

Рассвет. Первые лучи солнца пробиваются через щели в завале, рисуя на полу длинные золотые полосы. Пора возвращаться.

Беру топор. Проползаю через проход. Бегу обратно – по тем же тропинкам, через те же поля, мимо тех же спящих домов. Топор тяжелый в руке, но я почти не чувствую его веса. Чувствую только что-то другое – уверенность. Определенность. Понимание того, что я нашел. Не ответ, но направление.

Дом. Тихий, темный, еще спящий. Подхожу к крыльцу, сажусь на ступеньку. Жду.

Отец просыпается первым. Всегда первый. Слышу, как он аккуратно слезает с кровати, стараясь не разбудить мать. Слышу тихие шаги по полу. Слышу, как он открывает дверь, выходит на крыльцо, садится на ступеньку рядом со мной.

Не говорит ни слова. Просто сидит, смотрит на предрассветное небо, дышит холодным утренним воздухом.

Потом замечает топор. У меня в руках. Новый, блестящий, непохожий ни на один топор в деревне.

— Сам сделал? — Голос ровный. Без эмоций. Просто вопрос.

— Да, отец.

Он берет топор из моих рук. Взвешивает на ладони. Проверяет баланс – поворачивает в руке, слегка покачивает. Делает несколько пробных взмахов – не рубящих, просто чтобы почувствовать вес, траекторию, как лезвие режет воздух.

— Хорош топор. Ничего скажешь.

Молчание. Долгое, тяжелое, заполненное невысказанными словами.

— Что ты хочешь этим сказать?

Знаю его. Знаю, как он говорит – коротко, скупо, без лишних фраз. Знаю, что за этим вопросом стоит не любопытство, а понимание. Он уже знает ответ. Просто ждет, чтобы я его озвучил.

— Мне нужно уехать в город. Там я смогу раскрыть свой дар.

Говорю громко. Громче, чем планировал. От этого проснулась мать – слышу, как она ворочается за дверью, как одеяло шуршит, как босые ноги касаются пола.

— Только там я смогу постичь мир и его суть. Я понимаю, что могу остаться здесь, стать ремесленником и помогать тебе и маме, но тогда я буду чувствовать себя не на своем месте.

Дверь открывается. Мать стоит на пороге – в ночной рубашке, с растрепанными волосами, с глазами, которые уже все поняли без слов.

— Не плачь, сынок.

Подходит. Обнимает. Прижимает к груди – тонкой, костлявой, пахнущей дымом и хлебом. Руки – шершавые от работы – гладят меня по голове, по спине, как когда я был маленьким и падал, разбивая колени.

— Мы все понимаем, что ты нас любишь и не хочешь бросать. Мы привыкли к бедности. Не переживай за нас.

Отец смотрит куда-то в сторону. В никуда. В будущее, которое он уже видел, еще до того, как я сказал эти слова.

— Мать, поднимай матрас и отдавай ему сумку с нашими сбережениями.

Голос холодный. Ровный. Решительный.

Мама кивает. Возвращается в дом. Слышу, как скрипит кровать, как что-то тяжелое двигается. Возвращается с кожанной сумкой – маленькой, потертой, перевязанной белой тесьмой.

Вручает мне. Руки дрожат – слегка, почти незаметно.

— Сегодня торговцы уезжают в столицу. Заплати им два серебряных, и они возьмут тебя с собой. Я уже договорился.

Смотрю на отца. На его лицо – усталое, морщинистое, не выражающее ничего. Кроме глаз. Глаза смотрят на меня, и в них – все. Гордость. Страх. Любовь. Уважение.

— Что? Ты знал? Ты к этому готовился?

Отец не отвечает. Отвечает мать – тихо, мягко, обняв меня за плечи.

— Да, сынок. Мы все знали и видели, к чему все идет. Поэтому мы с твоим отцом работали сверхурочно, чтобы накопить деньги на твой отъезд.

Сумка в моей руке тяжелая. Монеты – медные, серебряные, может, даже золотые – звенят внутри, как маленькие колокольчики. Годы работы. Годы экономии. Годы жизни, отложенные в эту кожаную сумку ради одного момента. Ради меня.

— И что ты ждешь? Спеши, у тебя еще есть двадцать минут до отправления каравана. Поспеши!

В его голосе – что-то новое. Что-то, чего я никогда раньше не слышал. Трогательное. Нежное. Сломленное и сильное одновременно.

Отворачиваюсь. Не могу смотреть на них – на отца, стоящего на крыльце с опущенными плечами, на мать, обхватившую себя руками, как будто от холода. Не могу, потому что если посмотрю, не уйду. Останусь. Навсегда.

Бегу. По пыльной дороге, мимо спящих домов, к главной улице, где уже собирается торговый караван – телеги, лошади, люди, крики, суета предстоящего пути.

Бегу и кричу через плечо, не оборачиваясь, потому что знаю – если обернусь, увижу их лица, и этого будет достаточно, чтобы все изменить.

— Спасибо вам!

Голос срывается. В горле ком. В глазах – тепло, которое растекается по щекам, капает на рубашку, на дорогу, на сумку с монетами, которые пахнут потом и кровью моих родителей.

Бегу. Не оглядываясь. Вперед. К городу. К столице. К тому, что ждет меня там – неизвестному, пугающему, единственно возможному.

Бегу, и деревня остается позади – маленькая, пыльная, бедная, прекрасная. Мой дом. Моя жизнь. Мое прошлое.

А впереди – все остальное.

# Глава 2 – Академия

*«В жизни нет ничего, чего следовало бы бояться. Есть только то, что нужно понять.» - Мари Кюри*

День обещал быть откровенно дерьмовым. Лёгла поздно, встала рано, промежуток между этими событиями заполнен бесполезным метанием по страницам учебников, которые уже давно превратились в размытое пятно перед глазами. Голова тяжёлая, будто наполненная свинцом, а не мозгами. Я смотрю в потолок общежития и считаю причины, по которым сегодня всё пойдёт к чертям.

Во-первых, экзамен по оценке магической силы. Третий подряд. Два предыдущих я провалила с таким треском, что отголоски до сих пор слышны в коридорах академии. И да, если сегодня будет тот же результат — стипендия испарится. Как и место в общежитии. А значит, обратно к священнику.

К нему. К этому старому пердуну в белых одеяниях, который заставлял девочек из деревень одеваться в то, что он называл «учебными нарядами», а по факту было тонким прозрачным тряпьём, сквозь которое было видно всё, что боги задумали скрыть. Ночные «уроки». Встречи один на один. Прикосновения, которые невозможно было объяснить необходимостью духовного наставления.

Меня его постель обошла стороной. Единственная удача в этой проклятой истории. Суеверие: магическая сила растёт, пока маг остаётся невинным. Старик, хоть и смотрел на меня тем взглядом, от которого хотелось вымыться с щёткой, не мог рисковать. Академия верила, что я способна воссоздать шар Аврама. Я была инвестицией. Дорогой, перспективной, неприкосновенной.

А потом все поняли, что у меня не получается. Слишком поздно. Стипендия уже была моей, общежитие — тоже. Ловушка захлопнулась, но я уже была снаружи.

Дверь распахивается с такой силой, что отскакивает от стены и чуть не возвращается в лицо вошедшей.

— Эм, ты ещё долго? Тест начнётся через три часа. Не забудь позавтракать, а то с своими книгами ты уже и забыла, когда в последний раз ела.

Лейла. Моя соседка по комнате, человеческое воплощение утреннего солнца — яркое, навязчивое и абсолютно не к месту в пять утра. Её жизнерадостность и дотошность обычно доводят меня до состояния, близкого к смертельному, но сегодня у меня другие проблемы. Более крупные. Более важные.

— Да, хорошо, мамочка, конечно, я покушаю. Не переживай. А теперь иди куда шла, и без тебя проблем не сосчитать.

Она замирает на секунду. Её лицо — круглое, всегда улыбающееся — слегка меняется. Не обижается. Просто регистрирует факт: Эмили опять в своем режиме. С этим ничего не поделаешь.

— Хорошо, хорошо, но можно было и не грубить.

Дверь хлопает. Я остаюсь одна с тишиной и собственными мыслями, которые звучат громче, чем Лейла когда-либо сможет.

Ну хоть кому-то сегодня настроение подпортила. Маленькая победа.

Книги. Их столько, что они занимают больше места, чем я сама. Трактаты по теории маны, руководства по магии, сборники рун с комментариями мастеров — всё, что я смогла

найти за пять лет учёбы, всё, что должно было помочь мне понять, почему мой дар такой... ограниченный.

Я собираю их в башню. Аккуратно, по одной, создавая нестабильную конструкцию, которая доходит мне до подбородка и полностью закрывает обзор. Идиотский способ переноски? Безусловно. Но я не хочу делать два рейса. Не сегодня. Сегодня каждый шаг, каждая потраченная минута — это ресурс, который я не могу себе позволить.

Тащу эту башню по коридорам академии. Каменные стены, высокие потолки, витражи, отбрасывающие на пол разноцветные пятна — всё это я видела тысячу раз, и всё это меня сейчас бесит. Каждая деталь напоминает о том, сколько времени я потратила здесь впустую. Пять лет. Пять лет попыток, неудач, разочарований. Пять лет наблюдения за тем, как другие студенты стреляют молниями, управляют стихиями, лечат раны, а я... я рисую символы и надеюсь, что они хоть как-то вспыхнут.

Библиотека в конце коридора. Ещё несколько метров —

И я врезаюсь во что-то твёрдое. Что-то, что издаёт металлический лязг, падает на пол с грохотом, который эхом разносится по всему этажу. Моя башня книг разваливается, как карточный домик в ураган. Страницы разлетаются, переплёты хлопают по каменному полу, а я стою посреди этого хаоса и смотрю на человека, который только что упал со стремянки.

— Да что сегодня за день то такой?

Слова вылетают агрессивнее, чем я планировала. Голос резкий, колючий, наполненный всем раздражением, которое копилось с самого утра. А потом я вижу его лицо и понимаю, что, возможно, перегнула.

— Вы в порядке? Не ушиблись?

Он смотрит на меня. Странный взгляд. Не сердитый, не обиженный — ошарашенный. Как будто я не человек, а какое-то откровение, материализовавшееся посреди академического коридора.

И я, чёрт возьми, замечаю, что он симпатичный.

Рост — метр восемьдесят пять, не меньше. Широкие плечи, узкая талия, грудь, которая говорит о том, что он не чурается физического труда. Одет в коричневые рабочие штаны, кожаную жилетку поверх белой рубашки, на поясе — инструменты, подсумки, всякая мелочь, которую носят люди, умеющие что-то делать руками.

Но больше всего — глаза. Серо-голубые. Яркие, даже в полумраке коридора. Я застреваю в них, как в ловушке, и не могу отвести взгляд.

Мы стоим и молчим. Секунды растягиваются в минуты. Одна? Две? Больше? Я не считаю. Просто стою и смотрю на этого человека, а он смотрит на меня, и в воздухе между нами что-то происходит — что-то, что я не могу назвать и не хочу анализировать.

— Нормально.

Его голос низкий. Немного глуховатый, будто он редко его использует. И смущённый — я слышу это по тому, как он произносит это единственное слово, будто проверяя, работает ли ещё речевой аппарат.

— Цел, точно? Ты с такой высоты упал. Ой, простите, на вы?

Он улыбается. Улыбка кривая, немного неловкая, и от этого — чертовски обаятельная. Рука тянется к затылку, чешет его, и это движение такое... человеческое. Такое настоящее. Не то расчётливое очарование, который я вижу у студентов-аристократов, а что-то искреннее, неотрепетированное.

— Да нет, что вы, я всё же простой рабочий, а вы стипендиат, по значку вижу.

Я смотрю на свой значок — маленький серебряный кружок на отвороте мантии. Он заметил. Он увидел.

— То же на ты, пожалуйста.

— Как скажешь. У тебя что-то случилось? Ты шла вся в себе, я пару раз тебя окликнул, а ты даже не заметила.

Правда? Он окликал меня? Я действительно была настолько погружена в собственные мысли, что не услышала человека, стоящего прямо передо мной? Отличное начало дня. Просто великолепное.

— Да тут такое дело: сегодня выпускной экзамен по магии, а моя магия, мягко сказать, не дотягивает до минимального допустимого уровня.

Я говорю это ровным голосом, без эмоций. Как констатацию факта. Мозоль, которая образовалась за пять лет постоянных провалов и стала частью кожи — не болит, просто есть.

— Я могу помочь в качестве извинений за то, что задержал тебя.

Я смотрю на него. Простого рабочего. Человека с инструментами на поясе и руками, покрытыми мелкими шрамами. Он предлагает помочь мне с магическим экзаменом. Это либо гениально, либо идиотично, и я пока не могу решить, что из этого более вероятно.

— Да, не бери в голову, это моя проблема и моя вина, прости меня.

Начинаю собирать книги. Он немедленно присоединяется — наклоняется, поднимает трактаты, аккуратно складывает их в стопку. Его движения быстрые, точные, экономичные. Ни одного лишнего жеста.

Когда последняя книга оказывается в стопке, он кладёт ладонь на верхний переплёт и смотрит мне прямо в глаза. Его лицо меняется — исчезает неловкость, появляется что-то твёрдое, неоспоримое. Слепая уверенность.

— Я всё же уверен, что, если ты доверишься мне и уделишь 30 минут своего времени, я смогу тебе помочь с экзаменом.

Я смотрю на него. Моргаю. Пытаюсь найти в его глазах намёк на шутку, розыгрыш, что угодно. Ничего. Только эта уверенность, непоколебимая, как скала.

Я кладу руку на лицо. Глубокий вдох. Протяжный выдох.

— Хорошо, я согласна. Мне очень интересно, как ты сможешь мне помочь, если у меня не получается это сделать уже как два года.

— Всё просто. Делай то, что я говорю, на протяжении следующих 30 минут, и всё получится.

Его улыбка. Чёрт, его улыбка. Она такая... заразительная. На секунду я забываю про экзамен, про книги, про всё. Просто стою и смотрю на этого человека, который улыбается так, будто уже знает конец истории, и он счастливый.

А потом замечаю, что его уверенность граничит с наглостью, и это меня слегка раздражает.

— Давай, давай, приступай уже.

— Мне нужно знать название твоего дара, его особенности и принцип работы.

Я вздыхаю. Опять это. Объяснять, что такое «Начертание» людям, которые никогда не сталкивались с ограничениями дара, — всё равно что объяснять слепому, какой оттенок у заката. Бесполезно и немного унизительно.

— Хорошо, как скажешь. Мой дар называется «Начертание». Я создаю руны на предметах: один предмет — одна руна. Скорость создания зависит от сложности руны и её размера. Размер влияет на количество необходимой маны для её активации. Чем больше руна, тем сильнее заклинание, но и тем больше маны она требует.

Пауза. Он слушает. Внимательно. Не перебивает.

— Чтобы пройти экзамен, мне нужно создать комбинированную руну размером с трёхэтажное здание. У меня либо недостаточно маны, либо на это уходит слишком много времени. Ни то, ни другое не является вариантом в условиях экзамена.

Говорю это и чувствую, как что-то сжимается в груди. Знакомая тяжесть. Знакомое чувство невозможности.

— А мне кажется, что на экзамене ты сможешь всех очень удивить.

Я смотрю на него. Серьёзно?

— Ну, давай, маэстро, выкладывай свой план.

— Для начала возьми вот это перо.

Он протягивает мне обычное писчее перо. Ничего особенного — дешёвое, ученическое, такое же, как у сотен студентов академии.

— На его наконечнике нарисуй самую маленькую и слабую руну света. Нет времени объяснять, мне просто нужно понять твой дар.

Я беру перо. Провожу по наконечнику легким движением — быстрая, отработанная до автоматизма руна, самая простая из всех, что я знаю. Возвращаю ему.

— Для активации нужно влить ману в перо или руну.

Он кивает. Берёт перо, концентрируется, и наконечник слабо засвечивается. Зелёным — странно, обычно свет от рун белый или голубоватый. Но это мелочь.

А потом он начинает делать с пером что-то... странное. Поворачивает его под разными углами, меняет интенсивность подачи маны, пытается стереть мою руну пальцем (безуспешно, разумеется). Его движения быстрые, точные, почти одержимые. Как будто он видит что-то, чего я не вижу. Как будто перо — не просто инструмент, а окно в другую реальность.

Проходит пара минут. Я уже начинаю сомневаться в здравомыслии этого человека, как вдруг — он замирает. Полностью. Абсолютно. Зрачки расширяются, темнеют, взгляд устремляется в пустоту. Он стоит неподвижно, дыхание едва заметно, лицо — маска. Как мертвец. Как статуя.

Тридцать секунд. Ровно. Я считаю их про себя, сердце колотится где-то в горле, и я не понимаю, что происходит, и мне это не нравится.

А потом — он возвращается. Мгновенно. Как будто ничего не случилось. Смотрит на меня тем же ясным взглядом, и на его лице — понимание. Глубокое, полное, уверенное.

— Надеюсь, твоя магическая палочка не очень дорогая?

— Нет, самая дешёвая.

Он опускается на колени. Достаёт из-за пояса ручную пилу — небольшую, с тонким лезвием, идеально отполированным. И начинает пилить мою палочку. На равные части. Аккуратно, методично, как хирург.

— Что ты делаешь?

Мой голос звучит выше, чем хотелось бы. Я не понимаю. Совсем не понимаю.

— Что происходит?

— Ты же мне веришь?

Он поднимает на меня взгляд, и в его глазах — что-то, от чего у меня перехватывает дыхание. Не просто уверенность. Восторг. Радость открытия. Искренняя, неприкрытая, детская радость.

— Уверен, мы справимся с этим экзаменом, ведь твой дар замечателен. Или даже великолепен.

Никто. Никто никогда не говорил, что мой дар великолепен. Меня называли перспективной. Полезной. Интересной. Но никогда — великолепной. Это слово застревает где-то под рёбрами и греет изнутри, как глоток крепкого вина зимним вечером.

И я верю ему. Не знаю почему. Не знаю, как. Просто верю.

— Так, теперь дело за тобой.

Он раскладывает куски палочки на камне. Ровно, на равном расстоянии, с математической точностью.

— Ты будешь накладывать руны на тыльные стороны срезов, начиная от основания и до кончика. Последовательность: уменьшение отдачи, ускорение ветром, кручение ветром, взрыв, плотность, тяжесть, изменение материала — металл.

Он говорит быстро, уверенно, без пауз. Как будто читает по готовому плану. Как будто он уже всё продумал, рассчитал, проверил.

— Все руны должны быть очень маленькими и слабыми, чтобы ускорить процесс. Времени мало.

— Да.

Только это слово. Потому что больше мне нечего сказать. Потому что его уверенность заразительна. Потому что я хочу верить, что это сработает, даже если рациональная часть моего мозга кричит, что это безумие.

Десять минут. Не больше. Я накладываю руны — крошечные, едва заметные, такие слабые, что их сложно разглядеть невооружённым глазом. Каждый символ — идеальный, отточенный годами практики. Мои пальцы движутся автоматически, мозг отключён, работает только мышечная память и что-то ещё — что-то, что чувствует ритм, порядок, логику этого безумного плана.

Он склеивает палочку. Аккуратно, тщательно, с такой точностью, что после высыхания швы становятся невидимыми. Идеальная работа. Работа мастера.

— А как её использовать?

— Всё просто. Наполняй руны последовательно, от начала к концу, увеличивая количество маны с каждым разом, чтобы добиться максимального эффекта.

И в этот момент на его левом запястье раздаётся мелодия. Странная, механическая, не похожая ни на один звук, который я слышала в академии. Он отодвигает рукав, нажимает на кнопку какого-то устройства — тоже механического, тоже незнакомого — и смотрит на меня с той же кривой улыбкой.

— Всё, красавица, наши 30 минут закончились. Удачи на экзамене, не убей никого.

И он уходит. Просто разворачивается и уходит, оставив меня стоять посреди коридора со стопкой книг, разрушенной стремянкой и палочкой, которая, если верить ему, способна на что-то невероятное.

— Красавица, да что это невежа себе позволяет?!

Щёки горят. Нос пыхтит, как паровоз, от смеси смущения и злости. Красавица. Устаревший комплимент, который был актуален лет тридцать назад. Устаревший, как и он сам — этот нелепый, уверенный в себе, абсолютно непонятный человек с глазами, в которых я до сих пор вижу своё отражение.

— Ну, Эм, выхода у тебя нет. Будь что будет.

Поднимаю книги. Иду к экзаменационной площадке. Сдаю книги в библиотеку по пути — автоматически, не задумываясь.

А в кармане — палочка. Та самая, распиленная и склеенная заново. Та самая, на которой сейчас семь крошечных рун, нанесённых по указаниям человека, которого я встретила полчаса назад и имени которого даже не спросила.

Я иду на экзамен. И впервые за пять лет — мне не страшно.

Мне интересно.

Экзамен

— Так, ученики, строитесь!

Голос Рейс Верстал режет воздух, как лезвие. Чистый, командный, не оставляющий пространства для вопросов. Я встаю в строй, выпрямляю спину, опускаю руки по швам. Автоматические движения, отточенные пятью годами академической дисциплины.

Учебный полигон. Огромное пространство под открытым небом, окружённое каменными стенами с магическими усилениями. В центре — манекен. Человекообразная фигура из тёмного металла, покрытая сложной сетью защитных рун. Обычно — второго уровня. Сегодня — третьего. Я вижу разницу сразу: руны более плотные, более сложные, светятся интенсивнее даже в состоянии покоя.

Подстава. Классическая академическая подстава. Повысить уровень сложности в день выпускного экзамена, чтобы половина курса ушла с несданными зачётами. Мило. Очень мило.

Преподаватель обходит строй. Высокая, статная, с русыми волосами, собранными в тугой пучок, и лицом, которое, несмотря на сорок с лишним лет, продолжает сводить с ума половину мужского населения академии. Включая некоторых преподавателей. Говорят, у неё поклонников больше, чем у любой студентки — и это при том, что она известна своей железной дисциплиной и способностью разносить в пух и прах даже самых талантливых учеников.

— Сегодня последний экзамен по проверке боевой мощи. Ограничений по виду и способам магии нет. Используйте любые усилители и артефакты.

Последняя фраза — новость. Раньше артефакты на экзаменах запрещали. Считалось, что студент должен демонстрировать собственную силу, а не мощь чужих творений. Что-то изменилось. Что именно — мне неизвестно, и сейчас не время выяснять.

— Есть!

Хор голосов. Мощный, синхронный, выученный до автоматизма. Я присоединяюсь, хотя моё «есть» звучит тише остальных. Не от скромности. От знания собственных ограничений.

— Начинаем с сильнейших.

Конечно. Всегда с сильнейших. Всегда с тех, кто может разрушить манекен одним заклинанием, поднять боевой дух класса, задать высокую планку. А потом — постепенное снижение. Средние ученики. Слабые. И в самом конце — я. Вечная аутсайдерка. Вечная разочарование.

— ГлэмВинстер, на позицию.

— Есть.

Он выходит из строя. Медленно, уверенно, с той лёгкой небрежностью, которая свойственна людям, знающим свою цену. ГлэмВинстер. Первый красавец академии. Сын графа. Обладатель дара огня такой силы, что на его демонстрационных занятиях иногда плавятся каменные полы.

И да, он красив. Чёрт возьми, он красив. Высокий, стройный, с идеальными чертами лица и той улыбкой, которая заставляет девушек на задних рядах вздыхать синхронно, как хорошо настроенный хор. Я не исключение. Я тоже смотрю на него и чувствую что-то — не восхищение, не влюблённость, что-то более сложное. Смесь признания красоты и глубокого, инстинктивного недоверия.

Он становится перед манекеном. Расслабленная стойка, палочка в правой руке, левая свободно опущена вдоль тела. Никакого напряжения. Никакой концентрации. Как будто он собирается не разрушать усиленный манекен, а подписать какой-нибудь документ.

— Глэм, приступайте.

— Есть, мэм.

Он закрывает глаза. На секунду. Всего на секунду. А потом — мана. Она собирается вокруг него видимыми волнами, сгущается, уплотняется, приобретает цвет — сначала бледно-оранжевый, потом ярко-красный, потом почти белый. Он направляет её в палочку плавным, отточенным движением, и палочка начинает светиться изнутри, как раскалённый металл.

— Огненный шторм.

Тихий голос. Спокойный. Уверенный. И от этого — ещё более устрашающий.

Мана вырывается из палочки. Не потоком — стеной. Сплошной, всепоглощающей стеной огня, которая обрушивается на манекен с такой силой, что воздух вокруг буквально закипает. Я чувствую жар даже на своём месте, в десяти метрах от эпицентра. Экзаминаторуспевает создать барьер — быстрый, мощный, но даже он дрожит под напором этой стихии.

Манекен не разрушается. Он испаряется. Буквально. Один момент — он стоит, покрытый защитными рунами. Следующий — от него остаётся лишь расплавленный металл, растекающийся по каменному полу и дымившийся в утреннем воздухе.

Глэм стоит неподвижно. Его короткие волосы слегка подпалены по краям — единственное свидетельство того, что он хоть как-то пострадал от собственного заклинания. Он поворачивается к классу, слегка кивает, и на его лице — та самая улыбка. Сдержанная, скромная, идеально рассчитанная.

Класс взрывается аплодисментами. Девушки визжат. Парни одобрительно кивают, признавая превосходство. Я стою и смотрю на него, и внутри — знакомое чувство. Не зависть. Что-то более горькое. Осознание пропасти. Пропасти между тем, что могу я, и тем, что может он. Между «Начертанием» и настоящей боевой магией.

— Заменить манекен!

Миссис Верстал не аплодирует. Она никогда не аплодирует. Просто констатирует факт и двигается дальше.

— Следующий...

И так — двадцать семь раз. Двадцать семь учеников, двадцать семь попыток, двадцать семь результатов — от впечатляющих до откровенно жалких. Кто-то разрушает манекен полностью. Кто-то — частично. Кто-то оставляет на нём лишь царапины и уходит с поникшей головой.

Я стою и жду. Считаю. Слежу за тем, как очередь приближается ко мне, как лица вокруг меняются — от напряжённых к облегчённым (у тех, кто прошёл) или разочарованным (у тех, кто не справился). Время растягивается, как резина. Каждая минута — пытка. Каждая секунда — напоминание о том, что скоро. Совсем скоро.

И вот — моя очередь.

— Эмили Вест.

Голос Рейс Верстал. Ровный. Безразличный. Как будто она называет не человека, а номер в очереди.

— Да, мэм.

Выхожу на позицию. Ноги тяжелые, будто налитые свинцом. Руки слегка дрожат — надеюсь, не настолько, чтобы это было заметно.

— Приступайте.

— Есть.

Она даже не смотрит на меня. Уже отвернулась, проверяет что-то в своём журнале. Как будто результат предрешён. Как будто все — и она, и класс, и я сама — уже знаем, чем это закончится.

И знаем. Три провала подряд. Четвёртый не будет исключением.

— Так, не волнуйся, это уже твоя третья неудача, ничего страшного, не первая ведь.

Шепчу себе под нос. Успокаиваю. Убеждаю. Лгу.

Достаю палочку. Ту самую. Распиленную, склеенную, покрытую семью крошечными рунами, которые, если верить тому странному человеку с инструментами, способны на что-то невероятное.

Направляю на манекен. Закрываю глаза. Концентрируюсь.

И вспоминаю его слова. Чётко, дословно, как будто он стоит рядом и шепчет мне на ухо.

Наполняй руны последовательно. От начала к концу. Увеличивай количество маны с каждым разом.

Делаю. Медленно. Тщательно. Ощущаю, как мана течёт по моим сосудам, как она собирается в кончиках пальцев, как я направляю её в палочку — не всю сразу, как обычно, а порционно. Маленькими импульсами. Первая руна — слабый толчок. Вторая — сильнее. Третья — ещё. Четвёртая —

БУУУУМ.

Звук. Сначала — звук. Глухой, низкий, нарастающий, как гром перед бурей. Потом — свет. Ослепительный, белый, режущий глаза даже через закрытые веки. Потом — давление.

Волна горячего воздуха, которая бьёт мне в грудь с такой силой, что я отрываюсь от земли. Лечю назад. Полтора метра, может, больше. Приземляюсь на пятую точку так резко, что вижу звёзды.

А потом — тишина. Глубокая, оглушительная тишина, которая длится несколько секунд. Или минут. Я не могу сказать.

Открываю глаза. Пыль. Всё в пыли. Толстый слой серой взвеси покрывает пол, стены, меня саму. Я кашляю, отмахиваюсь от неё рукой и пытаюсь разглядеть, что произошло.

Манекена нет. Совсем. На его месте — воронка. Небольшая, метра полтора в диаметре, но глубокая — каменный пол вырван, как зуб, обнажив грунт под ним.

Но это не всё.

Стены. Две стены учебного полигона, расположенные по бокам от манекена. Стены с защитой пятого уровня — самой мощной, доступной в академии. На них не должно оставаться даже царапин от заклинаний студентов.

На них нет царапин. На них нет стен. Там, где секунду назад стояли метровые каменные блоки, усиленные сложнейшими защитными матрицами, теперь — дыры. Огромные, неровные, с оплавленными краями. Сквозь них видно небо, парк, отдалённые корпуса академии.

А вокруг — люди. Все. Весь класс, включая Рейс Верстал, лежит на полу. Лицом вниз, закрыв головы руками, в позах, которые говорят об одном: инстинктивная реакция на угрозу. На опасность. На то, что они не ожидали и не могли ожидать.

Тишину разрывает голос. Резкий, высокий, на грани истерики.

— Что это было, Эмили? Отвечайте!

Рейс Верстал поднимается с пола. Её идеальный пучок растрепался, на мантии — слой пыли, лицо — бледное, с двумя яркими пятнами на щеках. Глаза широко раскрыты. В них — не гнев. Страх. Настоящий, неприкрытый страх.

И я не могу сдержаться. Улыбаюсь. Широкая, нелепая, неподобающая улыбка растягивает мои губы, и я ничего не могу с этим поделать.

— Артефакт, товарищ преподаватель. Вы сказали, что можно использовать артефакты.

Голос ровный. Спокойный. Как будто я обсуждаю погоду, а не тот факт, что только что разрушила половину учебного полигона.

— В этом ты права, но ты разве не видишь последствия?

Она машет рукой в направлении разрушенных стен. Её пальцы дрожат. Слегка, почти незаметно, но дрожат.

И разрушила их я. Я. Эмили Вест. Девушка с «бесполезным» даром, которая пять лет не могла пройти базовый экзамен.

И сделала это с помощью палочки, которую мне модифицировал незнакомец за тридцать минут.

Кто он? Кто этот человек с инструментами на поясе и уверенностью в глазах? Как он смог понять мой дар с такой точностью, такой глубиной, что я, владеющая им пять лет, остаюсь в неведении о его настоящем потенциале?

Вопросы. Десятки вопросов, и ни одного ответа. Только это чувство — странное, новое, почти опьяняющее. Чувство силы. Настоящей силы. Не той, что даётся при рождении, как Глэму. Не той, что приходит с годами тренировок, как Рейс Верстал. Силы, которая рождается из понимания. Из знания. Из того, что кто-то посмотрел на мои ограничения и увидел в них возможности.

— Эмили Вест, к директору, немедленно!

Голос Верстал возвращает меня в реальность. Резкий, командный, лишённый всякой мягкости. Я выпрямляюсь. Киваю. Поднимаю руку в том же салюте, что отдавали все до меня.

— Есть, мэм!

Иду к выходу. Чувствую на себе взгляды — десятки пар глаз, следящих за каждым моим движением. Удивление. Недоумение. Страх. Зависть. Всё сразу, перемешанное в одном густом коктейле эмоций, который я никогда раньше не вызывала.

Прохожу мимо Глэма. Он смотрит на меня. Не сквозь меня, как обычно. На меня. Прямо в глаза. И в его взгляде что-то новое. Что-то, чего я раньше не видела.

Интерес. Настоящий интерес.

Я отворачиваюсь. У меня нет времени на это. На него. На его внезапно проснувшееся внимание.

Потому что сейчас меня ждёт директор. Потому что я только что разрушила часть академии. Потому что последствий не избежать — это я понимаю прекрасно.

Но.

Но я сдала экзамен. Чёрт возьми, я не просто сдала его. Я перевернула его с ног на голову, установила новый стандарт, заставила каждого в этом зале усомниться в том, что они знали о магии вообще и о моём даре в частности.

И это. Это стоит любой взбучки. Любого наказания. Любых последствий.

Я иду по коридору, и шаги мои твёрже, чем когда-либо. Голова выше. Спина прямее.

А в кармане — палочка. Тёплая. Живая. Готовая к следующему разу.

От лица Алана.

Да уж. Кажется, мой расчет был верным.

Пыль еще не осела. Она висит в воздухе над тренировочной площадкой Академии. Защитный барьер пятого ранга дезентегрирован до состояния кирпичной пыли.

Я сползаю вниз по стене, пока моя задница не ударяется о холодный камень. Подпираю подбородок кулаком и задумываюсь пропадая из ревльности. Запутанные размышления, от которых у меня начинает пульсировать в висках.

Хаос. В голове хаос. Что необычно.

Моя рука сама тянется к затылку, пальцы впиваются в рыжие пряди, царапают кожу. Царапать. Думать. Царапай сильнее.

— Да, это проблема, — шепчу я в пустой двор. — Она не выходит у меня из головы.

Её дар. Начертание. На бумаге звучит просто — руны, символы, магические чертежи. Я читал теории. Знаю теорию. Но то, что я только что видел — это не теория. Это переписывание реальности на ходу, без подготовки, без инструментов. Чистая импровизация, которая взорвала стену, созданную пятью мастерами с тридцатилетним стажем.

С этим даром можно изменить порядок в мире. И это ещё мягко сказано.

А ещё она очень красива.



Волосы русые, не темные, не светлые—где-то посередине, с оттенком меда на солнце. Лицо — милое. Не классически прекрасное, как у тех девушек из благородных семей, что ходят по коридорам с поднятыми носами. Что-то другое. Что-то честное. Не высокий рост по моим грубым расчетам от 155 до 160 сантиметров. Глаза голубые, но не холодные — напряженные, умные, постоянно что-то вычисляющие.

Всё это не дает мне покоя.

— Пора прийти в себя! — Кричу я самому себе и бью ладонями по щекам. Раз. Два. Больно. Хорошо.

Есть логическое объяснение. Всегда есть. Я встречал девушек. Спал с некоторыми. Никогда не было такого. Никогда не чувствовал, будто кто-то вставил пальцы в мой череп и перепутал все провода.

— Концентрация, — говорю я. Голос ровный, инструктивный, как будто объясняю себе, как починить сломанный механизм. — Разберемся.

Закрываю глаза. Дышу. Раз. Вдох. Два. Выдох. И погружаюсь.

Темнота сначала. Потом свет. Не яркий, приглушенный, как от масляной лампы. Комната формируется вокруг меня—деревянные стены, верстак, полки с инструментами. Моя лабора-

тория. Не настоящая—та, детская, в пещере у Ривен Роуд—а её точная копия, созданная моим сознанием. Пространство, куда я могу войти, когда нужно подумать. Когда нужно понять.

На верстаке лежит книга. Толстая, в кожаном переплете. На обложке—надпись, выведенная аккуратным, почти каллиграфическим почерком: “Это любовь, Тугодум.”

Я моргаю. Моргаю еще раз.

— Вот те на.

Беру книгу в руки. Переворачиваю. Ничего не понимаю. Мой дар—Созидание—всегда давал мне знания о материалах, объектах, физических вещах. Дерево. Камень. Металл. Мана. Как они устроены, как их улучшить, как их разобрать и собрать заново, но лучше.

Он никогда не давал мне книг о чувствах.

— Такого от своего дара я не ожидал, — говорю я в пустоту лаборатории. Голос отдается от деревянных стен, возвращается приглушенным эхом. — Что, моя собственная способность будет меня подкалывать?

Тишина. Потом—смех. Тихий, едва слышный, будто доносящийся из-за самой дальней полки.

— И что ты на это скажешь? — Поворачиваюсь на месте, вглядываюсь в темные углы. — Ты живой или что? Или ты сам святой Аврам?

Смех стихает. Больше ничего.

— Ладно. Сам разберусь.

Я открываю глаза. Лаборатория исчезает, как будто её и не было—сначала стены, потом верстак, потом сам свет, и я снова у кирпичной стены академии, прислонившись к ней спиной, с ощущением, будто только что проснулся от очень странного сна.

Книга о любви. Смех в темноте. Мой собственный дар, подкалывающий меня, как будто у него есть собственное чувство юмора.

— Ладно, — говорю я пустому двору. — Хватит психовать. Пора действовать.

Мне нужно найти её. Сейчас. Потому что завтра—если не сегодня вечером—к ней выстроится очередь из желающих. Аристократы с предложениями. Церковники с контрактами. Военные с обещаниями карьеры. Все те, кто пять лет не замечал её существования, а теперь внезапно увидел «потенциал».

А я человек простой с даром, который даже церковь не смогла классифицировать.

Отличные шансы. Просто великолепные.

Встаю. Отряхиваю штаны. И бегу.

Парк академии проплывает мимо меня как размытая картинка—фонтаны на каждом перекрёстке, статуи покровителей магии, вырезанные из белого мрамора, дорожки, вымощенные гладким камнем, который блестит под послеполуденным солнцем. Всё это великолепие, всё это богатство, всё это напоминание о том, что я здесь чужой. Сын лесоруба среди детей графов и баронов.

Статуя Аврама в центре. Огромная, бронзовая, с протянутой рукой, в которой когда-то, по легендам, был настоящий шар. Теперь—пустота. Как будто кто-то забрал самое важное и оставил только позу, жест, намёк на что-то утраченное.

Я оббегаю её, не замедляясь. Времени на восхищение нет.

Коридоры. Длинные, каменные, с высокими потолками и узкими окнами, сквозь которые льётся пыльный, золотистый свет. Студенты расходятся по сторонам, как вода перед носом корабля—некоторые смотрят с удивлением, некоторые с раздражением. Рабочий. Бегущий. Нарушающий академический покой своим присутствием, своей скоростью, своим не-студенческим видом.

Я считаю повороты. Левый после библиотеки. Правый у зала алхимии. Прямо мимо мастерских, где пахнет металлом и серой. Ещё один левый—и вот он, коридор перед библиотекой.

Мой расчёт. Единственное место, где её маршрут пересекается с моим. Из кабинета директора—через западное крыло, мимо аудиторий, затем этот коридор—к её комнате в общежитии. Логично. Просто. Предсказуемо.

Я останавливаюсь, опираясь руками о колени, и пытаюсь отдышаться. Легкие горят, сердце колотится где-то в горле, пот стекает по спине тёплыми ручейками. Бежал как угорелый. Как будто за мной гнались. Как будто от этого зависела вся моя жизнь.

Может, так оно и есть.

— Фух, успел!

Выпрямляюсь. Провожу рукой по лицу, смахивая пот. Поправляю жилетку. Стараюсь выглядеть... не знаю. Нормально? Уверенно? Как человек, который не бежал пол-академии сломя голову, а просто случайно оказался здесь, в нужное время, в нужном месте, абсолютно спокойно и собранно.

Опёрся локтем в стену. Перенёс вес на одну ногу. Слегка наклонил голову. Брутальная поза. По крайней мере, я так думаю.

— Ты тут!

Она появляется из-за угла как раз в тот момент, когда я закончил свою импровизированную постановку. Останавливается. Смотрит на меня. На мою позу. На моё запыхавшееся лицо. На пот, который, я уверен, заметен даже в полумраке коридора.

В её глазах—смесь удивления, подозрения и чего-то ещё, что я не могу определить. Возможно, раздражения. Вполне заслуженного.

— У меня к тебе пара вопросов.

Мой голос звучит хрипло от бега. Я выпрямляюсь, отрываю локоть от стены, стараюсь встать прямо. Получается не очень.

— Да миледи, что вам угодно?

Фарс. Чистейший, неподдельный фарс. И эта проклятая одышка, которая не даёт мне закончить фразу без придыхания. Я выгляжу как идиот. Я знаю, что выгляжу как идиот. И не могу ничего с этим поделать.

— Я тоже очень возжелал встретиться с вами вновь.

Она морщит лоб. Её брови—светлые, почти незаметные—сдвигаются к переносице.

— Что с тобой случилось? Ты за несколько часов кардинально изменился.

Правда. Утром я был спокоен. Уверен. Контролировал ситуацию. Теперь—трясущиеся руки, сбитое дыхание, слова, которые вылетают раньше, чем мозг успевает их проверить.

— Ну, тут такое дело. Я забыл представиться.

Кланяюсь. Чуть-чуть, больше кивок, чем настоящий поклон. Рука сама тянется к затылку, начинает чесать его—неловкое, нервное движение, которое я ненавижу, но не могу остановить.

— Алан Стрейт.

— Эмили Вест, приятно познакомиться.

— Очень приятно.

Пауза. Неловкая, протяжная, заполненная звуком нашего дыхания—моего тяжёлого, её ровного.

— А теперь, по поводу вопроса. Что ты хотела спросить?

Ненавижу своё тело. Ненавижу, что оно делает со мной. Она просто поприветствовала меня—и меня как будто ударило током. По спине, по рукам, по животу—волна тепла, которая растекается под кожей и заставляет сердце биться быстрее. Идиотизм. Чистейший идиотизм.

Я бью себя по лбу. Резко, отчаянно, как будто пытаюсь выбить из головы эту дурь.

— Можешь рассказать подробнее о своём даре? Без него меня сегодня бы отправили обратно в монастырь.

Её лицо. Милое. Серьёзное. С лёгкой натянутостью вокруг губ—она не привыкла просить. Не привыкла быть в положении просителя. Это видно по тому, как она держит подбородок, как смотрит прямо, не отводя глаз.

Это мой шанс. Единственный. Нужно выманить её из академии. Объяснить всё. Убедить.

А как это выглядит со стороны? Незнакомец уговаривает студентку покинуть учебное заведение. Сумасшедший. Подозрительный. Опасный.

Будь я на её месте, я бы ни за что не согласился.

— Эм, можно?

Она кивает. Один раз, коротко.

— Так вот, как бы мягко сказать. Если ты не покинешь академию сразу после выпуска, тебе очень вероятно может грозить опасность.

Слова вылетают слишком прямо. Слишком резко. Я вижу, как меняется её лицо—не страх, нет. Смущение. Неловкость. Как будто я сказал что-то настолько неуместное, что она не знает, как на это реагировать.

Потому что она умная. Умнее меня, возможно. Она отличница. Она пять лет провела в этой системе. Она знает, как всё устроено, лучше, чем я смогу ей объяснить за пять минут случайной встречи в коридоре.

— Что с тобой? Почему ты проявляешь такую странную заботу? Зачем тебе это?

Её голос ровный. Спокойный. Но в нём есть сталь—тонкая, гибкая, не ломающаяся. Она не пугается. Она анализирует. Собирает данные. Ищет мотивы.

— Прости. Когда я что-либо исследую или вижу возможность как приблизится к своей цели, я забываю о мире вокруг и могу выглядеть глупо.

Честность. Единственное, что у меня есть. Чистая, неотполированная честность, без тактики, без расчёта.

— Я немного странный, но не слишком.

Стыдно. Невыносимо стыдно признавать это вслух. Что она мне нравится. Что с момента, как я её увидел, что-то в моей голове переключилось, и я не могу это выключить. Не могу контролировать.

— Ты явно не из глупых, но зачем ты мне уже второй раз хочешь помочь? Это для меня загадка.

Она меняет позу. Ноги чуть шире, спина прямее, подбородок приподнят. Угрожающая поза. Не физически—интеллектуально. Её взгляд сверлит мне лоб с такой интенсивностью, что я почти чувствую, как в черепе образуется дырка.

— Как сказать.

Пауза. Глубокая. Я ищу слова, перебираю варианты, отбрасываю один за другим—слишком надуманные, слишком расчётливые, слишком неискренние.

Остаётся только правда.

— Ты мне нравишься. Во всех смыслах.

Слова вылетают сами, без фильтра, без редактуры. Сырые, необработанные, как будто кто-то выдернул пробку, и всё, что копилось внутри, хлынуло наружу.

— Не знаю почему—может, биохимические реакции. Не я виноват. Честное слово.

Отмахиваюсь руками. Быстро, нервно, как будто отбиваюсь от роя пчёл. От собственных слов. От их нелепости. От того, как они звучат в тихом академическом коридоре, где каждый шёпот слышен за два поворота.

— Ты очень красивая, а твой дар—это нечто—

Её лицо краснеет. Мгновенно, от щёк до кончиков ушей. Она отводит взгляд—быстро, резко, как будто её ударили.

А я стою и понимаю, что только что уничтожил все свои шансы. Всё. Конец. Я нравлюсь ей? Нет. Я даже не в топ-100 красавчиков академии. Я рабочий в грязных штанах и потной рубашке, который даже не учится здесь официально.И всё же.

— Эмили, ты мне нужна.

Я наклоняюсь. На девяносто градусов, как будто кланяюсь королю. Правая рука вытянута вперёд, ладонь вверх—жест, который я видел в старых романах, которые читал в детстве. Рыцарский. Устаревший. Смешной.

— Что ты делаешь? С ума сошел?

Её голос срывается на пол-октавы выше. Она оглядывается—быстро, панически, по сторонам коридора. Никого. Пока.

— Выровняйся скорее.

Она хватает меня за плечи. Толкает. Сильно, решительно, с силой, которой я не ожидал от такой, на первый взгляд, хрупкой девушки.

— Если нас увидят, подумают, что ты мне предложение делаешь.

Дверь за моей спиной. Я не заметил её—узкая, неприметная, почти сливающаяся со стеной. Дверь в кладовку. Она открывает её одним движением, толкает меня внутрь, и я проваливаюсь в темноту, спотыкаясь о что-то твёрдое на полу.

Дверь закрывается за нами с мягким щелчком.

Темнота. Полная, густая, как чернила. Я ничего не вижу—только смутные очертания полок, ящиков, каких-то коробок, наваленных в беспорядке. Воздух пахнет пылью, старой бумагой и чем-то химическим—скорее всего, реактивами из соседней алхимической лаборатории.

И её. Её запах—что-то лёгкое, цветочное, едва уловимое под всем остальным.

— Я согласна.

Её голос в темноте. Тихий, близкий—очень близкий. Настолько, что я чувствую её дыхание на своей шее. Тёплое, ровное, слегка учащённое.

— Если ты так говоришь, то я тебе явно необходима.

Пауза. Я слышу, как она переводит дыхание. Чувствую, как её грудь поднимается и опускается где-то в сантиметрах от моей.

— Не похож ты на человека, который просто так раскидывается словами на ветер. Или это просто повод пригласить меня на свидание?

— Нет, я о таком даже не думал.

Ложь. Я думал. Думал с момента, как увидел её в библиотечном коридоре, стоящую над разбросанными книгами с выражением смеси злости и растерянности на лице. Думал, пока помогал ей собрать страницы. Думал, пока смотрел, как она рисует руны на обломках палочки —быстро, точно, с концентрацией, которая заставляла её губы слегка сжиматься, а брови сходиться к переносице.

Но сейчас не время для этого. Не здесь. Не так.

— Ты мне действительно очень нужна, но, чтобы понять зачем, нужно обязательно покинуть территорию академии.

— Хорошо.

Одно слово. Чёткое, решительное. Без колебаний.

— Жду тебя завтра в этом же месте. За два часа до начала комендантского часа.

Она говорит уверенно. Её голос не дрожит. Но я чувствую её—всю, целиком, каждую деталь. Мой подбородок почти упирается в макушку её головы. Мои руки—я не помню, как они там оказались—лежат на её талии. Нащупывают что-то округлое, тёплое, настоящее под тонкой тканью академической мантии.

Её дыхание на моей шее. Тёплое. Щекотное. Невыносимое.

— Да что ты ёрзаешь?

Её голос становится резче. Раздражённым. Она чувствует мои движения—непроизвольные, инстинктивные, которые я не могу контролировать, как не могу контролировать сердцебиение или дыхание.

— Я понимаю, что неудобно. Сам виноват. Я не хочу оправдываться перед другими, что мне сделали предложение.

Предложение. Слово висит в темноте между нами, тяжёлое, нелепое, смешное. Я чуть не смеюсь—нервно, истерично—но сдерживаюсь.

— Согласен. Немного неудобно, извини, что дергаюсь.

Немного. Чёрт возьми, это самое большое преуменьшение в моей жизни. Моё тело говорит, что ему очень удобно. Слишком удобно. Кровь приливает ниже пояса с такой силой, что я чувствую каждый удар пульса, каждый сантиметр набухания, каждый градус повышения температуры.

Я надеюсь, что темнота скрывает моё лицо. Надеюсь, что она не видит, как я краснею. Надеюсь, что не чувствует того, что происходит ниже.

— Вылезаем, но только чтобы никто не увидел.

— Ты вылезай, а я ещё минут на пятнадцать задержусь здесь дляуверенности.

Практично. Логично. И совершенно не из-за того, что мне нужно время, чтобы прийти в себя. Совершенно не из-за того, что если я выйду сейчас, каждый в радиусе пятидесяти метров увидит, в каком состоянии я нахожусь.

— Ну, это ты хорошо придумал, умник.

Сарказм. Густой, как мёд, и такой же сладкий. Я слышу, как она улыбается—не вижу, но чувствую, по тому, как меняется тембр её голоса.

— Жду тебя завтра.

Дверь открывается—узкая щель, пропускающая тонкий луч света, который разрезает темноту, как нож. Она выскальзывает наружу—быстро, бесшумно, как тень,—и дверь закрывается за ней с тем же мягким щелчком.

Я остаюсь один в темноте. Прислоняюсь спиной к полке, скольжу по ней вниз, пока не сажусь на пол. Колени подтянуты к груди, руки на них, голова опущена.

Дышу. Глубоко. Медленно. Считаю до десяти. Потом ещё раз. Потом ещё.

Слава Авраму, она вышла. Слава всем святым, всем богам, всем силам этого проклятого мира—она вышла, потому что если бы так продолжилось ещё пять минут, я бы никогда в жизни не смог перед ней оправдаться.

Никогда.

А завтра мне нужно будет это сделать. Объяснить всё. Убедить. Перетянуть на свою сторону.

Я сижу в темноте и слушаю, как моё сердце постепенно успокаивается, а кровь отступает от тех мест, откуда ей следовало бы отступить гораздо раньше.

Завтра. Завтра всё решится.

А пока—ещё пару минут в этой кладовке. Для уверенности.

# Глава 3 – Необычный вечер

*«Я не из тех, кто мечтает, я из тех, кто делает.» - Никола Тесла*

Голова кругом. Буквально. Как будто кто-то взял мои мысли, засунул в бочку и начал катать её по каменистой дороге.

Я иду по коридору общежития, и каждый шаг отдаётся в висках. Руки всё ещё тёплые от его прикосновений—тех нескольких секунд в кладовке, когда его пальцы лежали на моей талии, а дыхание касалось шеи. Смущение. Раздражение. И что-то ещё, что я не хочу называть.

Зачем он так пристаёт? Почему я ему так важна?

Алан Стрейт. Рабочий. Человек с глазами, которые меняют цвет в зависимости от освещения—от серого до почти голубого. Вчера утром он был другим. Уверенным. Непоколебимым. Стоял на той стремянке, смотрел на меня сверху вниз, и в его голосе не было ни капли сомнения. Как будто он уже знал, чем всё закончится. Как будто взрыв на полигоне был прописан в каком-то сценарии, который он читал загодя.

А после—нервный, задыхающийся, с руками, которые не знают, куда деться, и словами, которые вылетают раньше, чем мозг успевает их проверить. «Ты мне нравишься. Во всех смыслах». Простые слова. Прямые. Честные, насколько я могу судить.

Или это игра? Какая-то сложная, многоходовая игра, правила которой мне неведомы?

Он из другого мира. Это чувствуется во всём—в том, как он смотрит на вещи, в том, как говорит о магии, в той слепой уверенности, с которой он взял мою палочку и распилил её, не спрашивая разрешения. Как будто наши правила—академические, социальные, все эти правила, ему не писаны. Как будто он живёт по каким-то своим законам, которые я только начинаю различать сквозь туман собственного непонимания.

Это пугает. И притягивает. Одновременно.

Я останавливаюсь перед дверью своей комнаты. Берусь за ручку. Делаю глубокий вдох.

— Войди и забудь. Хотя бы на пять минут.

Открываю.

Лейла сидит на своей кровати, скрестив ноги, и смотрит на меня так, будто я только что вернулась с войны. Глаза круглые, брови вздёрнуты к потолку, рот приоткрыт.

— Что случилось? Вся академия на ушах стоит.

Голос высокий, на грани визга. Она всегда так—всё драматизирует, всё превращает в спектакль. Но сегодня в её тоне есть что-то настоящее. Непритворное удивление.

Я бросаю сумку на пол. Падаю на кровать лицом вниз и лежу так несколько секунд, чувствуя, как матрас принимает форму моего тела—уставшего, напряжённого, всё ещё слегка дрожащего от адреналина.

— Всё хорошо, — говорю я в подушку. Потом переворачиваюсь, сажусь, смотрю на неё. — Я сдала тест. На отлично. И даже лучше.

Слова выходят тихими, но твёрдыми. И я чувствую, как что-то расправляется внутри —что-то сжатое, сморщенное, что пять лет сидело под рёбрами и мешало дышать. Гордость. Чистая, неразбавленная, почти детская гордость.

Больше никто не скажет, что моя деревенская магия бесполезна. Больше никто не посмотрит на меня с той снисходительной улыбкой, которая означает: «Милая, ты стараешься, и это мило». Я взорвала стену с защитой пятого уровня. Я. Эмили Вест. Девушка, которую три года называли серой мышью.

Лейла моргает. Один раз. Два. Потом её лицо меняется—появляется что-то сложное, смешанное. Зависть? Да, определённо. Но ещё что-то—какое-то новое уважение, которого раньше не было.

— А мне кажется, всё не так просто.

Она откидывается на подушку, скрещивает руки на груди. Голос становится мечтательным, сладковатым—таким, каким он всегда становится, когда речь заходит о чём-то связанном с благородными семьями.

— К нам заходил Глэм.

Я замираю. Руки, которые я только что протянула к башне книг на тумбочке, останавливаются на полпути.

— Огненный маг. Из дворян. Очень хотел видеть тебя.

Она произносит это так, будто сообщает о визите королевской особы. С придыханием. С тем блеском в глазах, который появляется у неё всякий раз, когда в радиусе километра оказывается кто-то с титулом и хорошей внешностью.

А Глэм и то, и другое имеет в избытке. Красивый. Высокий. Сын графа. И, как выяснилось сегодня, способный на такие вещи с огнём, что плавит сталь.

— Что он сказал? — спрашиваю я. Голос ровный. Спокойный. Как будто мне всё равно.

Внутри—шторм. Алан. Его слова в кладовке. «Если ты не покинешь академию сразу после выпуска, тебе очень вероятно может грозить опасность». И вот—буквально через несколько часов—ко мне в комнату приходит ГлэмВинстер. Первый красавец академии. Человек, который годами не замечал моего существования.

Слишком удобно. Слишком вовремя.

— Он хочет познакомиться с выдающимся магом Эммой Вест. — Лейла выпрямляется, подражая его позе—спина прямая, подбородок приподнят, одна рука элегантно согнута в локте. — И у него есть предложение, от которого нельзя отказаться.

Я смотрю на неё. На её разгорячённое лицо, на глаза, которые горят от чужого внимания, как будто оно адресовано ей.

— Хорошо. — Встаю, подхожу к окну. За ним—академический парк, фонтаны, статуи, всё это великолепие, которое пять лет напоминало мне, что я здесь чужая. — Если он ищет меня, скажи, что я подумаю о его предложении после выпуска.

Поворачиваюсь. Лейла смотрит на меня так, будто я только что предложила выпрыгнуть из окна.

— Что?

— Ты слышала.

— Он обратил внимание на такую серую мышь, как ты? — Она вскакивает с кровати, руки на бёдрах, лицо искажено недоумением и чем-то более тёмным. Обидой, что ли? — Надо сразу запрыгнуть к нему на шею и держаться там навечно. Это же ГлэмВинстер, чёрт возьми! Сын графа! Самый...

— А мне кажется, это твоя мечта, подруга. Раз ты так об этом говоришь.

Слова вылетают тихими, но острыми, как лезвие. Попадают точно в цель—я вижу, как Лейла вздрагивает, как что-то проносится по её лицу—боль, гнев, признание—и исчезает, сменяясь холодной, отточенной улыбкой.

— Иди ты.

Она показывает мне средний палец. Чётко, недвусмысленно. Разворачивается и выходит, хлопнув дверью с такой силой, что стёкла в окне дребезжат.

Тишина. Густая, послештормовая. Я стою посреди комнаты и слушаю, как моё сердце постепенно успокаивается.

День. Какой же это был день.

Таинственный Алан с загадкой и уверенностью, которая граничит с безумием. Взрыв на полигоне, который перевернул всё, что я знала о собственном даре. И теперь—Глэм. Красивый, знатный, внезапно заинтересованный Глэм, с предложением, «от которого нельзя отказаться».

Я чувствую себя героиней какого-то романа. Из тех, что тётя Шейла читала мне вслух в деревне, сидя под яблоней, пока я, слушала, затаив дыхание. Запретная любовь наследного принца и деревенской девушки. Только в моей версии принцев два, и оба подозрительны по-своему.

Падаю на кровать. Хватаю подушку. Прижимаю её к лицу и кричу в неё—тихо, сдавленно, чтобы никто не услышал за тонкими стенами общежития.

— Кого мне выбрать?

Смешно. Просто смешно. Пять лет меня никто не выбирал. Пять лет я была фоном , девушкой с бесполезным даром, которая сидит на передней парте и молча перелистывает страницы учебников, пока другие творят чудеса.

А теперь—двое. Двое мужчин, совершенно непохожих друг на друга, оба чего-то хотят от меня. Оба смотрят на меня так, будто я—нечто большее, чем просто Эмили Вест из деревни Ривен Роуд.

Радость. Странная, пугающая радость разливается по груди, согревает изнутри, как глоток крепкого вина. Я засыпаю с ней—с этой теплотой, с этими вопросами, с этими неразобранными чувствами, которые путаются, как нитки в комке, и никак не хотят распутываться.

Засыпаю и вижу сны. Разные. Переплетающиеся. Руки с инструментами на поясе. Глаза, меняющие цвет от серого к голубому. И где-то на заднем плане—огонь. Яркий, всепоглощающий, опасный.

От лица Алана

Добрался до постоялого двора на окраине города уже затемно. Ноги ноют—полдня бегал по академии как угорелый, сначала от библиотеки до полигона, потом обратно, потом в кладовку, где провёл лишних пятнадцать минут, приводя себя в порядок. Устал. Но не так, как после рубки леса. Другая усталость—ментальная, нервная, от постоянного переключения между ролями.

Постоялый двор стоит вплотную к крепостной стене. С северной стороны—той, что всегда в тени—кирпичная кладка покрыта плесенью. Тёмно-зелёные разводы, бархатистые на ощупь, если провести рукой. Я провожу. Каждый раз, когда возвращаюсь. Ритуал.

Двухэтажное здание. Ничего особенного—деревянный каркас, каменный низ, обшарпанный фасад, который когда-то, возможно, был белым, а теперь представляет собой нечто неопределённого грязно-серого оттенка. На первом этаже—трактир. На втором—комнаты для постояльцев. Моя среди них.

Открываю дверь. Запах бьёт в нос—прокисшее пиво, вяленое мясо, древесный дым от печки и что-то ещё, неуловимое, что живёт в старых зданиях и никуда не выветривается, сколько ни проветривай. Знакомый запах. Почти домашний, если забыть, что дома у меня никогда не пахло пивом.

— Привет, начальник.

Стефан стоит за барной стойкой. Вытирает бокал тряпкой—медленно, методично, с концентрацией человека, который десятилетиями делал одно и то же и достиг в этом совершенства. Сорок пять лет на лице—но выглядит старше. Морщины вокруг глаз глубокие, как трещины в сухой земле. Руки—большие, узловатые, покрытые шрамами—одна ямка на тыльной стороне левой ладони точно от стрелы, он как-то упоминал.

Бывший наёмник. Женился. Развёлся. Завёл ребёнка. Потерял всё—жену, ребёнка, смысл—и уехал в другой город с тем, что осталось. Открыл эту таверну. Назвал её как-то просто—не помню как, никто не помнит, все зовут просто «постоялый двор Стефана». И живёт

здесь, день за днём, вытирая бокалы и разговаривая с постояльцами так, будто у него на это отведено ровно столько времени, сколько нужно, и ни секундой больше.

— И тебе не хворать. — Он ставит бокал на полку, поворачивается ко мне. Глаза—спокойные, усталые, но внимательные. Видит всё—запачканную рубашку, потные волосы, тёмные круги под глазами. — Как дела на работе?

«На работе». Так он называет академию. Никогда не уточняет, чем я там занимаюсь—чиню свет, подметаю полы или что-то ещё. Просто «работа». Удобно. Никаких лишних вопросов.

— Всё хорошо. — Подхожу к стойке, облокачиваюсь. Дерево под локтями гладкое, отполированное тысячами таких же локтей за десятки лет. — Вы по делу или просто решили побеспокоить постояльца?

Он хмыкает. Одним уголком рта—едва заметно, но я знаю, что это улыбка. Его версия улыбки.

— По делу, конечно. — Достаёт из-под стойки маленький молоток—обычный, столярный, с деревянной ручкой. Кладет его передо мной. — Нужно починить свет в тамбуре на втором этаже. Мигает, народ нервничает. Оплата как обычно, плюс неделя проживания.

Смотрю на молоток. Потом на него. Потом снова на молоток.

— Начальник, вы так разоритесь. Это же дело двух минут.

Он знает. Я знаю, что он знает. Игра, в которую мы играем с момента моего заселения парулет назад. Он создаёт задачи—мелкие, необременительные, которые я могу решить за пять минут—и платит за них как за полноценную работу. Плюс проживание. Плюс иногда—еда, если замечает, что я слишком худой.

Добрый человек. Сломанный, но добрый. И слишком гордый, чтобы просто дать денег. Поэтому—молотки. Светильники. Стулья с шатающимися ножками. Вечный ремонт в вечно ветшающем здании.

— Будет сделано, начальник. — Поднимаю руку к виску. Не совсем воинское приветствие—скорее пародия на него, которую он терпит с тем же спокойным выражением лица.

Беру молоток. Иду на второй этаж.

Коридор узкий, тёмный, освещённый парой магических светильников, встроенных в потолок. Один из них—ближе к тамбуру—действительно мигает. Неровно, с перебоями, как сердце больного человека. Подхожу, встаю на цыпочки, провожу пальцем по кристаллу—чувствую структуру, теплоту, поток маны, который идёт слишком прерывисто. Контакт окислился. Чищу его ногтем—грубо, но эффективно. Свет выравнивается. Становится ровным, устойчивым, как и должен быть.

Дело двух минут. Как я и сказал.

Иду дальше по коридору. Моя комната—в дальнем углу. Самая большая на этаже, хотя «большая» здесь—понятие относительное. Четыре на четыре метра, не больше. Одно окно—узкое, с деревянной рамой, которая трещит на ветру. Одна кровать—узкая, с матрасом, набитым чем-то, что когда-то было соломой, а теперь представляет собой нечто более компактное и менее комфортное. Один стол—массивный, дубовый, занимающий полкомнаты.

Именно из-за стола я и выбрал эту комнату. Всё остальное—не важно.

Открываю дверь. Запах встречает меня первым—чернила, свежий папирус, что-то химическое, слабое, едва уловимое. Мои запахи. Запахи работы.

Включаю свет. Магическая лампа на стене зажигается—тёплым, желтоватым светом, который я настроил сам, заменив стандартный кристалл на свой, более эффективный. Никто не заметил. Никто никогда не замечает.

Подхожу к столу. Он стоит у окна—я поставил его так специально, чтобы дневной свет падал прямо на рабочую поверхность. Сейчас—ночь, но даже ночью здесь лучше, чем в других

углах комнаты. Ближе к небу. Ближе к звёздам, которые иногда видно сквозь щели в ставнях, если небо особенно ясное.

На столе—пергамент. Развёрнутый, закреплённый по углам маленькими металлическими грузиками, которые я отлил сам из обрезков медной проволоки. На пергаменте—чертёж. Схема. Нечто, что пока существует только в виде линий, цифр, пометок на полях моим неразборчивым почерком.

Ткань, пропускающая ману.

Я провожу пальцем по контурам. Чувствую текстуру бумаги—шероховатую, неровную, местами прожжённую от слишком долгого контакта с раскалённым пером. Знакомые ощущения. Успокаивающие.

Ткань, которая позволяет мане проходить сквозь себя без сопротивления. Ткань, которую можно «запрограммировать»—наложить на неё руны, символы, целые матрицы, и она будет проводить их эффекты так же чисто, как проводник проводит ток. Невидимость. Терморегуляция. Защита. Всё, что угодно, ограниченное только фантазией создателя и количеством маны, которое может пропустить материал.

И—что важнее—механизм самоуничтожения. Ткань, которая сгорит, если впитает слишком много маны за слишком короткое время. Или через определённый промежуток—скажем, девяносто шесть часов. Тикающая бомба, зашитая в одежду, которую носят «толстосумы»—аристократы, придворные, может, даже король или королева.

Хаос. Красивый, контролируемый, рассчитанный до секунды хаос.

Я сажусь на табурет. Беру перо—острое, тонкое, собственного изготовления, с ручкой из ясеня, которую я выточил до идеальной формы под свою ладонь. Обмакиваю в чернила.

— Вот и до тебя руки дошли.

Говорю это чертежу. Или себе. Или пустой комнате, которая слушает меня уже три года и ни разу не перебила.

— Где ты, мой верстак?

Верстак. Не физический—тот, в детской пещере, в Ривен Роуд, заваленной камнями и заросшей мхом. Верстак в голове. То пространство, куда я ухожу, когда нужно подумать. Где стены—деревянные, пол—земляной, а на столе лежат инструменты, которых нет в реальном мире, но которые я чувствую кончиками пальцев, когда закрываю глаза и дышу глубоко, медленно, считая до десяти.

Нужно будет туда вернуться. Скоро. Сейчас—только наброски. Только первые линии, первые расчёты, первые приблизительные оценки того, сколько маны потребуется, какие руны наложить, какую структуру волокон выбрать.

Перо касается бумаги. Проводит линию—ровную, уверенную, без колебаний. Потом ещё одну. Потом—цифры на полях, мелкие, плотные, как россыпь семян.

Сегодня ночь будет бессонной. Я это знаю. Чувствую это в костях—то знакомое напряжение, которое появляется, когда проект начинает обретать форму. Когда идея перестаёт быть просто идеей и становится чем-то материальным, пусть пока только на бумаге.

Работаю. Комната вокруг исчезает—остаются только стол, лампа, перо в руке и белый лист, который постепенно заполняется линиями, превращаясь из пустоты в нечто настоящее. В нечто, что когда-нибудь изменит всё.

А где-то за стенами этой комнаты—академия. И в ней—она. С её русыми волосами и голубыми глазами и даром, который, как я теперь точно знаю, может сделать невозможное возможным.

Работаю и думаю о ней. О том, что сказал. О том, что не сказал. О том, как её руки дрожали, когда она рисовала руны на обломках палочки, и как эти же руки были твёрдыми, когда она толкала меня в кладовку, и как они лежали на моей груди в темноте, тёплые, лёгкие, настоящие.

Перо скользит быстрее. Линии становятся чёткими, точными, почти машинными. Голова ясная. Совершенно ясная, как будто кто-то вымыл её изнутри и высушил на солнце.

Сегодня ночь будет бессонной. И я этому рад.

От лица Эмили

Лежу на кровати и не могу уснуть. Мысли лезут в голову, как муравьи в сахарницу—мелкие, навязчивые, от которых невозможно избавиться, как ни тряси.

Как он это сделал?

Вопрос, который крутится уже несколько часов. Как человек, который никогда раньше не видел моего дара в действии, смог понять его лучше, чем я сама за пять лет обучения? Как он взял обычную палочку, распилил её на куски, велел мне нанести семь рун в определённой последовательности—и получил результат, который разрушил стену с защитой пятого уровня?

Я водила пальцем по воздуху, представляя последовательность. Уменьшение отдачи. Ускорение ветром. Кручение ветром. Взрыв. Плотность. Тяжесть. Изменение материала—металл. Каждая руна—крошечная, едва заметная, слабая настолько, что я сомневалась, работает ли она вообще. А вместе—это.

Это как если бы кто-то взглянул на разобранные магические часы и сразу понял, как их собрать так, чтобы они показывали не только время, но и дату, погоду и фазы луны. Интуиция? Гениальность? Или что-то ещё—что-то, связанное с его собственным даром, о котором он сказал всего одно слово: «Созидание».

Созидание. Что это значит? Создание? Творение? Ничего конкретного. Ничего, что объяснило бы, как он видит структуру вещей так ясно, что может оптимизировать чужую магию с первого взгляда.

И ещё вопрос. Более важный. Более личный.

Зачем он мне помогает? Что он хочет взамен?

«Ты мне нравишься. Во всех смыслах». Простые слова. Прямые. Но что за ними? Что он ожидает от меня? Использования? Партнёрства? Или чего-то более... традиционного?

Ты хочешь меня использовать или я тебе нравлюсь в другом плане?

— Аааaа!

Вскакиваю с кровати. Хватаю подушку. Швыряю её в стену с такой силой, что из соседней комнаты раздаётся недовольное ворчание. Ярость—чистая, концентрированная, накопившаяся за день напряжений, неожиданностей, эмоций, которые некуда девать.

Такие слова недопустимо говорить одинокой девушке с проблемами в жизни. Просто бросить их в темноте кладовки и уйти, оставив меня разбираться с последствиями. Кто так делает? Кто вообще так делает?

Стою посреди комнаты, тяжело дыша, и чувствую, как жар отступает, сменяясь чем-то более холодным, более рациональным. Усталостью, может быть. Или просто принятием того, что некоторые вопросы останутся без ответов до завтра. До нашей встречи. До тех пор, пока я не посмотрю ему в глаза и не спрошу напрямую.

Ложусь обратно. Закрываю глаза.

Стук в дверь.

Тихий. Вежливый. Три аккуратных удара, ровно таких, какими стучат люди, которые уверены, что их впустят.

— Эмили, я знаю, что вы здесь. Откройте, пожалуйста. У меня важный разговор.

Голос. Низкий, бархатный, отполированный годами светских бесед и придворных речей. Голос, который я слышала сотни раз в аудиториях, на лекциях, в коридорах—всегда направленный куда-то в сторону, никогда на меня.

Глэм Винстер. Первый красавец академии стучит в мою дверь глубокой ночью с «важным разговором».

— Вы что-то хотели, Глэм?

Открываю дверь ровно настолько, чтобы видеть его лицо—и не более. Стою в проёме, скрестив руки, с выражением, которое, надеюсь, передаёт ровно одну мысль: «Ты пришёл явно не вовремя».

Он стоит прямо. Спина—идеально прямая, подбородок—приподнятый, одна рука—элегантно согнута в локте, как будто он готов в любой момент извлечь из кармана носовой платок или визитную карточку. Одет—конечно же—безупречно. Тёмный камзол с серебряными пуговицами, белая рубашка, ботинки, которые блестят даже в полумраке коридора, как будто их только что начистили.

— Позвольте представиться. ГлэмВинстер, старший сын графа Винстера.

Он сгибается пополам. Глубокий, театральный поклон, рука описывает дугу в воздухе, почти касаясь пола. Точно такой же, как у Алана днём—только у Алана это выглядело неловко, искренне, по-деревенски мило, а у Глэма—отрепетировано до совершенства. Как танец, который он танцует тысячу первый раз.

Я смотрю на этот поклон и чувствую... что? Удовлетворение? Да, определённо. Первый красавец академии кланяется мне, Эмили. Это приятно. Признаю.

Он выпрямляется. Тянет руку вперёд. В пальцах—кольцо. Золотое, массивное, с камнем—тёмно-красным, почти чёрным при этом свете. Дорогое. Очень дорогое. Такое кольцо стоит больше, чем я заработаю за всю жизнь, если буду рисовать руны на палочках до седых волос.

— Выходите за меня.

Говорит это так же просто, как если бы предлагал пройтись по парку. Голос ровный, уверенный, без малейшей дрожи.

— Я восхищен вашим талантом и усердием в учебе. Я готов превозносить вашу красоту и восхвалять улыбку. И я...

— Тебя отец подослал?

Вопрос вылетает сам, без фильтра, без тактики. Прямой. Резкий. Как удар топором по идеально отполированному мрамору.

Глэм замирает. Его рука с кольцом остаётся протянутой, но что-то меняется в его позе—лёгкое смещение веса, почти незаметное напряжение в плечах. Глаза—широкие, тёмные, красивые—моргают раз, два.

— С чего вы взяли?

— Ты, сын графа, который до сегодняшнего дня даже не посмотрел ни разу в мою сторону за три года нашего совместного обучения.

Стою и смотрю на него. Вижу, как он переваривает эти слова—медленно, с видимым усилием, как будто я говорю на языке, который он понимает, но не очень хорошо.

Мой разум кричит одно: это шанс. Соглашайся. Возьми кольцо. Стань женой графского сына, и все твои проблемы исчезнут—стипендия, общежитие, опасность вернуться к священнику. Всё. Разом.

А что-то другое—глубже, тише, но твёрже—шепчет другое: это ловушка. Ты окажешься в плену. Как у священника—только вместо белых одежд будут бархатные камзолы, а вместо церковных догм—придворные интриги. Твоя магия станет их собственностью. Твой дар—их инструментом.

А я самостоятельная девочка. Из деревни Ривен Роуд, где отец был главой не потому, что его назначили, а потому, что его уважали. Где тётя Шейла сидела под яблоней и читала романы о запретной любви, потому что сама когда-то выбрала любовь вместо безопасности.

Я сама решаю, на кого смотреть. Как использовать свой дар. И—да—кому отказывать, даже если этот кто-то красив как грех и богат как Глэм.

— Это ложь, миледи.

Учтивость никуда не делась — но голос стал чуть ниже, чуть суше, как бумага, которую начинают мять, но ещё не решились порвать. Кольцо в его пальцах блеснуло, когда рука слегка сжалась.

— Ты, похоже, узнал о моём существовании только сегодня, — сказала я. Не вопрос. Утверждение.

— Нет. Я наблюдал за вами всё время учёбы.

— Тогда скажи: на каком ряду я сижу?

Он не ответил сразу. Взгляд остался прямым, но что-то за ним — какая-то маленькая шестерёнка — явно остановилась.

— Вы считаете это существенным? Я не веду счёт рядам.

— Существенным? — я чуть наклонила голову. — До первого ряда всего несколько шагов. Это не счёт, это просто ходьба.

Серебряные пуговицы на его камзоле поднялись и опустились вместе с глубоким вдохом.

— Ты понимаешь, кто я?

«Ты». Уже не «вы». Интересно.

— Вы только что представились. Довольно подробно. — Я не двинулась с места. — Или это тоже вылетело из головы?

Он смотрел на меня ещё мгновение — с выражением человека, который привык, что двери открываются прежде, чем он успевает постучать. Потом убрал кольцо в карман, развернулся и пошёл по коридору — прямо, ровно, с достоинством, которое при других обстоятельствах, возможно, даже впечатлило бы.

Я закрыла дверь. Прислонилась к ней спиной и уставилась в потолок.

Смеяться над этим было немного стыдно. Но я всё равно смеялась. Кажется мне все таки очень нравиться портить людям настроение.

Сутки. Целые сутки я прожила в каком-то подвешенном состоянии, словно кто-то оторвал меня от земли и забыл поставить обратно.

День был долгим. Слишком долгим. После Глэма и его кольца я почти не выходила из комнаты—сидела на кровати, перебирала книги, пыталась читать, но слова прыгали перед глазами, не складываясь в смысл. Что-то изменилось. Что-то внутри—какой-то переключатель, который щёлкнул вчера на полигоне, когда стена разлетелась на куски, и с тех пор не возвращается в исходное положение.

Я могу больше, чем думала. Это понимание—тяжёлое, неудобное, как камень в ботинке, который мешает ходить, но постоянно напоминает о своём существовании.

И ещё есть он. Алан. С его уверенностью и той странной, детской непосредственностью, с которой он кланяется и говорит «миледи», словно выучил это слово по старому роману и теперь использует его при каждом удобном случае.

Стою у кладовки. Та самая—узкая, неприметная, с дверью, которая почти сливается со стеной. Жду. Уже пять минут. Ноги подкашиваются от напряжения—не физического, нервного. Каждый шорох в коридоре заставляет сердце прыгать к горлу. Каждая тень—казаться его силуэтом.

— Добрый вечер.

Голос. Низкий, слегка глуховатый, с той же кривой улыбкой, что слышна даже без визуального подтверждения. Поворачиваюсь.

Он стоит там, где его вчера не было. С рюкзаком за спиной—объёмным, набитым чем-то твёрдым, что упирается в ткань угловатыми контурами. Одет так же—рабочие штаны, кожаная жилетка, белая рубашка, слегка помятая, будто он спал в ней или просто не заботится о

таких вещах. Волосы—рыжие, неопрятные, торчат в разные стороны, как будто он только что проснулся и забыл провести по ним рукой.

— Смотрю, ты не любишь опаздывать.

Делаю реверанс. Небольшой, насмешливый—не графский поклон, а скорее пародия на него. Руки расставляю в стороны, подбородок приподнимаю, губы растягиваю в улыбке, которая, надеюсь, передаёт ровно одно: «Я тебя вижу насквозь».

Он отвечает тем же—весь его вид меняется, становится более театральным. Спина выпрямляется, одна рука сгибается в локте, другая—прикладывается к груди в каком-то полупоклоне, полуприветствии. Лицо—серьёзное, почти торжественное, если бы не глаза. Глаза смеются. Ярко, открыто, без намёка на смущение.

— Добрый вечер, миледи. Эта ночь обещает быть интересной.

— Говоришь ты складно. — Перестаю улыбаться. — Но какой у нас план? Как ты предлагаешь ученице покинуть академию после комендантского часа?

Он усмехается. Одна сторона рта приподнимается выше другой—кривая, несимметричная улыбка, которая почему-то смотрится на его лице лучше любой идеальной.

— Миледи, позвольте...

— Заканчивай этот фарс. — Перебиваю резко, может, слишком резко. — Я отказалась от помолвки с сыном графа Винстрова не для того, чтобы тут кокетничать с тобой.

Что-то мелькает в его глазах—удивление? Недоверие? Слишком быстро, чтобы разобрать. А потом—изменение. Мгновенное, почти физически ощутимое. Театральность спадает, как маска. Поза становится естественнее—плечи опускаются, руки находят своё место по бокам, взгляд—прямой, чёткий, без намёка на игру.

— Даже так. — Голос тише. Твёрже. — Спасибо, что веришь мне.

Достаёт из рюкзака что-то—свёрнутое, компактное, лазурного цвета. Разворачивает—и я замираю.

Плащ. Не просто плащ—что-то другое. Ткань плотная, но не тяжёлая—скорее, упругая, с какой-то внутренней структурой, которую я чувствую даже на расстоянии. Цвет—глубокий сине-зелёный, почти морской, с лёгким мерцанием, едва заметным при свете коридорных фонарей. На ощупь—как я позже выясню—он будет чем-то средним между шёлком и кожей: гладкий, но не скользкий, тёплый, но дышащий.

— Где ты купил его?

— Сам сделал. — Произносит это так спокойно, будто сообщает о погоде. Ни гордости, ни скромности—просто констатация факта. — Это моё последнее изобретение. Мана-ткань.

Мана-ткань. Два слова, которые ничего не значат—и одновременно значат всё. Ткань, проводящая ману. Ткань, которая, если я правильно понимаю принцип, позволяет...

— Поняла.

Открываю дверь кладовки. Захожу внутрь—тесно, темно, пахнет пылью и чем-то химическим, что, вероятно, просочилось из соседней алхимической лаборатории. Он—следом, прикрывая дверь за собой. Включает маленькую лампу—самодельную, судя по виду, с кристаллом, который светит нестандартным, слегка голубоватым светом.

— Вот список.

Протягивает мне листок. Чистый, белый, с аккуратным почерком—ровными, чёткими буквами, которые я бы никогда не ожидала от человека с такими неухоженными руками.

Отражение. Прозрачность. Свет. Поглощение. Отвлечение.

Пять рун. Простых—настолько, что их изучают на первом курсе. Ничего сложного, ничего, что требовало бы особой концентрации или большого запаса маны. Те же, что на палочке вчера—только адаптированные под ткань, под её структуру, под то, как мана будет течь по этим волокнам.

— Я закончила.

Десять минут. Не больше. Мои пальцы движутся автоматически—лёгкие касания, быстрые штрихи, каждый символ идеален, отточен годами практики. Руны ложатся на ткань—крошечные, едва заметные, светящиеся слабым голубоватым светом, который быстро гаснет, впитываясь в материал.

Он кивает. Берёт плащ, разворачивает его—широким, плавным движением, как фокусник—и накидывает мне на плечи. Ткань ложится идеально—не тяжёлая, не громоздкая, почти невесомая, как вторая кожа. Внутренние пуговицы—крошечные, искусно вшитые, так что снаружи плащ выглядит цельным, без швов, без стыков.

— Надевай капюшон. И маску—она в кармане.

Нахожу её—тоже из той же ткани, гибкую, эластичную, с какими-то мелкими застёжками по краям, которые щёлкают, когда я прижимаю их к лицу.

Тьма. Полная, абсолютная. Я ничего не вижу—ни стен, ни пола, ни его, ни даже собственных рук перед лицом.

— Вообще-то я ничего не вижу.

— Так и должно быть. — Его голос где-то рядом—близко, очень близко. — Влей свою ману в плащ. Поймёшь.

Концентрируюсь. Чувствую, как мана течёт по сосудам—медленно, упрямо, как всегда, неохотно откликаясь на призыв. Направляю её в ткань—не всю сразу, порциями, как он учил вчера с палочкой.

Плащ отвечает. Сначала—вспышка, короткая, яркая, голубоватая, которая на секунду освещает внутренность кладовки. Потом—ничего. Тишина. Тёмнота. И—в центре маски—маленькая щель. Крошечная, диаметром с монету, через которую я вижу... всё. Всё, что было скрыто секунду назад. Стены. Пол. Его лицо—находящееся в сантиметрах от моего, с выражением напряжённого ожидания.

— Что произошло?

— Сейчас я возьму тебя под локоть, и мы выйдем через центральные ворота.

— Ты понимаешь, что если стража увидит нас... — Голос срывается. Что-то подкатывает к горлу—страх? Гнев? И то, и другое, перемешанное в один густой, неприятный ком. — ...твой плащ не сработает как оправдание, и мы оба попадём в карцер?

Разочарование. Острое, почти физическое. Я думала... чего я думала? Что он маг с особым даром? Что у него есть план, какой-то хитрый, продуманный, основанный на реальных знаниях, а не на слепой надежде?

А он оказался простым дураком. С красивыми глазами и хорошими намерениями, но дураком.

— Они нас не заметят. — Голос твёрдый. Уверенный. С той же слепой, непоколебимой верой в себя, которая была у него вчера на стремянке, когда он распиливал мою палочку. — Ведь на тебе плащ-невидимка.

— Ты серьёзно? — Смеюсь—резко, нервно, без радости. — Эти несколько рун могут сделать человека невидимым?

— Человека? Нет. — Он наклоняется ближе. Я чувствую его дыхание на щеке—тёплое, ровное, слегка учащённое. — Но этот плащ из мана-ткани—да.

Пауза. Длинная, тяжёлая, заполненная только звуком нашего дыхания в тесной кладовке.

— Ты нанесла на него пять рун. Один предмет—пять рун. Ты сама говорила, что это невозможно—один предмет, одна руна. Правило, которое не нарушалось никогда.

— Это точно, но...

— Но ткань особенная. — Он проводит рукой по моему плечу—лёгкое касание через плащ, которое я чувствую, несмотря на слой материала. — Она проводит ману не так, как обычные материалы. Не линейно—сетью. Каждое волокно—отдельный проводник. Каждая нить—свой канал. И руны, нанесённые на разные участки, работают независимо, не мешая друг

другу. Потому что между ними—пространство. Воздух. Пустота, которая не проводит ману, а значит, не создаёт помех.

Я стою и слушаю. Слушаю и чувствую, как что-то перестраивается внутри—какие-то фундаментальные представления о магии, которые держались пять лет академического обучения и рухнули за два дня знакомства с этим человеком.

— Почему внутри плащ не прозрачный?

Вопрос вылетает сам—не самый важный, не самый умный, просто первый, который пришёл в голову.

— Это моя недоработка. — Он качает головой—я вижу это через щель в маске, его рыжие пряди колышутся при движении. — Я спешил с его созданием и не успел закончить мелкие детали. Внутренний слой должен был быть таким же прозрачным, но... времени не хватило.

Пауза. Более тихая, более личная.

— И да. Ещё раз спасибо, что поверила мне и не рассказала учителям.

Его голос меняется. Становится тише. Грустнее. Что-то в нём—какая-то нота, которая отзывается где-то глубоко, под рёбрами, в месте, которое я обычно тщательно охраняю от посторонних.

— В нашем мире доверие дорого стоит. И я это хорошо знаю.

Я не вижу его лица полностью—только фрагменты через щель, только контуры, освещённые слабым светом лампы. Но я чувствую—знаю, не вижу, а именно чувствую—что он смотрит вниз. Что его плечи слегка опущены. Что за этой уверенностью, за этой театральностью, за всем этим фасадом есть что-то настоящее. Уязвимое. Человеческое.

— Времени мало. — Он выпрямляется. Берёт меня под локоть—крепко, уверенно, пальцы тёплые даже через ткань плаща. — Нужно вернуть тебя к утренней поверке.

Дверь открывается. Холодный воздух коридора обдувает лицо—свежий, после духоты кладовки, почти обжигающий. И мы идём—он впереди, я—следом, невидимая для мира, видимая только для него, через крошечную щель в маске, которая вдруг кажется больше, чем есть на самом деле.

Гораздо больше.

Город ночью—другой. Не тот, что я знала по дневным прогулкам между лекциями—шумный, пёстрый, переполненный студентами в одинаковых мантиях и торговцами, кричащими о своих товарах с каждого угла. Ночью он сжимается. Становится тише, уже, более... честным, что ли. Без масок. Без притворства.

Я вижу его фрагментами. Узкими, вытянутыми полосами, которые пропускает щель в маске—как будто смотрю в подзорную трубу, только вместо моря передо мной—улицы Прайвуда, освещённые редкими магическими фонарями, отбрасывающими на камни длинные, неровные тени.

Главная улица. Широкая, вымощенная гладким камнем, по которой днём ездят кареты знати, а сейчас—пустая, отдающая эхом наших шагов, хотя шаги не слышны. Плащ поглощает и их—или мне так кажется? Я не уверена, как работает эта штука целиком, и от этой неуверенности становится немного не по себе.

Алан ведёт меня за руку. Его пальцы—тёплые, крепкие, слегка шершавые на кончиках—обхватывают мои с такой уверенностью, будто мы ходим так годами, а не встретились вчера. Я не сопротивляюсь. Не могу—видимость ограничена, ориентироваться в незнакомом городе ночью, даже невидимой—глупая затея. Так что я просто иду. Доверяю. Позволяю ему вести меня куда-то, куда—не знаю, и от этого—странное, почти пьянящее чувство свободы.

Мы минуем площадь. Центральную—ту самую, где стоит статуя святого Аврама, которую я видела сотни раз из окон академии, но никогда—так близко, так... лично. Ночью она выглядит

иначе—более одинокой, более величественной, с протянутой рукой, которая, кажется, тянется не к небу, а к чему-то недостижимому здесь, на земле.

— Мы на главных улицах, — говорит он тихо, не оборачиваясь. Голос приглушённый—плащ, вероятно, поглощает и звук, по крайней мере, снаружи. — Так безопаснее. Стража патрулирует переулки, а не широкие дороги.

Облегчение. Настоящее, физическое—что-то разжимается под рёбрами, давая возможность дышать глубже. Если бы мы шли по закоулкам, по тёмным, узким проходам между домами, где каждый угол—потенциальная засада, каждый шорох—угроза... я бы, наверное, сорвала этот плащ. Вышла бы наружу. Вернулась бы в академию, в свою комнату, к своим книгам и предсказуемому будущему.

Но мы идём по главной улице. По освещённой, открытой, где даже ночью есть какое-то подобие жизни—редкие прохожие, возвращающиеся домой поздно, патруль стражи, проходящий вдалеке ровным строем.

Запах приходит первым. Резкий, характерный, ни с чем не спутаешь—прокисшее пиво, вяленое мясо, древесный дым от печки. Таверна. Мы подходим к двухэтажному зданию—деревянный верх, каменный низ, обшарпанный фасад, который когда-то, возможно, был белым, а теперь представляет собой нечто неопределённого грязно-серого оттенка.

Алан открывает дверь. Колокольчик над ней звякает—тихо, приглушённо—и мы входим внутрь.

Тепло. Первое, что я чувствую—тепло, идущее от каменного пола, от печки в углу, от тел немногочисленных посетителей, сидящих за столами с кружками в руках и низкими, неразборчивыми разговорами. Свет—тёплый, желтоватый, от магических ламп на стенах, настроенных на мягкое, уютное свечение, а не на яркое, академическое.

— Добрый вечер, начальник!

Алан. Его голос меняется—становится громче, веселее, расслабленнее, с какой-то почти детской радостью, которую я не слышала раньше. Он отпускает мою руку—ненадолго, на секунду—и машет кому-то за барной стойкой.

Я вижу его через щель—не полностью, фрагментами. Мужчину. Пожилого, лет сорока пяти, может, больше—морщинистое лицо, глубокие складки вокруг глаз, большие, узловатые руки, которые вытирают бокал тряпкой с той же методичностью, с какой мой отец точил ножи по воскресеньям. Бывший воин, судя по осанке, по тому, как он держит спину—прямо, несмотря на возраст, несмотря на усталость, читаемую в каждом движении.

И что-то ещё. Что-то в том, как они смотрят друг на друга—Алан и этот человек. Не как хозяин и постоялец. Как-то иначе. Теплее. Ближе.

Всплывает образ. Неожиданный, резкий, как удар—тётушка Шейла. Сидящая под яблоней с книгой на коленях, с той улыбкой, которая появлялась на её лице, когда я забиралась к ней через забор и падала, царапая колени. Тёплая. Принимающая. Та, что никогда не спрашивала «зачем», а просто открывала дверь и говорила «входи».

Похоже. Не внешне—по сути. По тому, как этот старый воин смотрит на Алана—с мягкостью, которая не сочетается с его боевыми шрамами и жёсткими чертами лица. С чем-то почти отцовским.

Меня вырывает из мыслей рывок. Алан снова берёт меня за руку, тянет через холл—быстро, решительно, минуя столики, барную стойку, несколько удивлённых взглядов (они не видят меня, но чувствуют? Или это игра воображения?)—к лестнице в дальнем углу.

— Извини, начальник, я сегодня устал, пойду отдыхать.

Бросает это через плечо, не останавливаясь. Голос—лёгкий, непринуждённый, с той же неформальностью, с которой ребёнок сообщает родителю, что идёт спать.

Ответ приходит сзади—тёплый, глубокий, с лёгкой хрипотцой, которая выдаёт годы, проведённые в дымных помещениях.

— Да, конечно. Ты ведь не работаешь здесь. Отдыхай, сынок.

Сынок. Не «Алан». Не «молодой человек». Сынок. Простое слово, которое говорит больше, чем любая пространная речь о доверии, верности, привязанности.

Мы поднимаемся по лестнице. Деревянной, скрипучей, с шаткими перилами, которые я инстинктивно хватаю, хотя знаю, что невидима, и моё падение, если оно случится, будет так же невидимо, как и я сама.

Второй этаж. Коридор—узкий, тёмный, освещённый парой тех же магических ламп, что и внизу, только здесь свет ещё слабее, ещё приглушённее. Я иду следом за Аланом, держась за его руку, и то и дело задеваю локтями косяки—они выступают дальше, чем кажется через щель, и каждый раз, когда дерево упирается в локоть, я вздрагиваю, хотя боли почти нет—скорее, неожиданность, диссонанс между тем, что я вижу (ничего) и тем, что чувствую (препятствие).

Скрип. Дверь открывается—тяжёлая, деревянная, на петлях, которые явно требуют смазки. Мы входим внутрь.

— Снимай плащ. Мы пришли.

Его голос меняется снова—становится тише, более... личным, что ли. Без той театральности, что была в коридорах академии. Без той расслабленности, что была внизу, в таверне. Что-то промежуточное—спокойное, уверенное, но с лёгким напряжением где-то на заднем плане.

Снимаю. Процесс неудобный—плащ цепляется за волосы, за уши, за маску, которая снимается с щелчком крошечных застёжек. И вдруг—я здесь. В полный рост. Видимая. Реальная. Стоящая посреди комнаты, которую я никогда раньше не видела, в доме человека, которого почти не знаю.

Комната. Небольшая—четыре на четыре, не больше. Одно окно—узкое, с деревянной рамой. Одна кровать—узкая, с матрасом, который выглядит так, будто набит чем-то более твёрдым, чем перья. И стол—огромный, дубовый, занимающий добрую половину помещения, заваленный... всем. Бумагами. Инструментами. Какими-то механическими деталями, которые я не могу опознать. Лаборатория. Мастерская. Жилое пространство—где-то на заднем плане, почти как дополнение.

Передаю ему плащ. Руки слегка дрожат—от холода? От напряжения? От всего сразу?

— Это подарок. — Он не берёт его. Стоит передо мной, руки по швам, взгляд прямой, серьёзный. — Возьми его с собой. Пригодится, если возникнут проблемы в академии. Особенно после твоего выступления на экзамене.

В его голосе—забота. Настоящая, не наигранная. Та, что слышна не в словах, а в том, как они произнесены—тихо, мягко, с тем подтекстом, который нельзя подделать.

Что-то щёлкает внутри. Какая-то маленькая, давно заржавевшая шестерёнка, которая вдруг сдвигается с места, заставляя слова вырываться наружу раньше, чем мозг успевает их проверить.

— Это не твоя вина, что у меня будут трудности из-за моего дара.

Говорю твёрдо. Пытаюсь—получается неловко, голос срывается на полуслове, и я чувствую, как щёки начинают гореть.

— У меня были проблемы ещё при поступлении. Меня забрали от родителей. Привезли в чужой город. К незнакомым людям. В незнакомый дом.

Слова вылетают сами—быстро, беспорядочно, как вода через прорванную плотину. Пять лет молчания. Пять лет, которые я носила в себе, ни с кем не делясь, потому что не с кем было делиться—Лейла слишком поглощена собой, преподаватели слишком заняты перспективными студентами, а я... я была просто фоном. Статистикой.

— Там один старый хрыч пытался домогаться. Безуспешно. А весь руководящий состав академии был разочарован, что я не смогла воссоздать шар Аврама. И что у меня нет магических способностей в атакующей и защитной магии.

Пауза. Длинная. Тяжёлая. Я стою посреди его комнаты и слушаю эхо собственных слов, отдающееся от деревянных стен, и понимаю, что только что вывалила на незнакомца—почти незнакомца—всю свою историю. Всю боль. Всю неуверенность. Всё, что копилось пять лет и должно было остаться там, внутри, под замком.

— В общем, эта не самая большая проблема, что случалась в моей жизни из-за моего дара.

Он слушает. Внимательно. Не перебивает. Не смотрит с жалостью—смотрит с чем-то другим. С пониманием? С признанием? Я не могу разобрать—эмоции на его лице слишком сложные, слишком переплетённые, чтобы читать их с первого взгляда.

И это—странно. Странно, что он слушает. Странно, что мне не стыдно. Странно, что в этой тесной, заваленной чертежами комнате, в двух шагах от чужой кровати, я чувствую себя... безопаснее, чем в своей собственной, в академии, за толстыми каменными стенами и магическими защитами.

— Прости. — Голос срывается. — Я не хотела. Просто рядом с тобой я веду себя странно. Не так, как обычно. Больше такого не повторится.

Он смущается. Видно—глаза отводятся, рука тянется к затылку, чешет его тем нервным, неосознанным движением, которое я уже начала узнавать. Его версия смущения. Честная. Неприкрытая.

А потом он делает что-то, чего я не ожидаю. Берёт мои руки. Обе. Аккуратно, нежно, как будто боятся сломать, складывает ладони у своей груди—не у моей, у своей—и смотрит мне прямо в глаза. Вплотную. Так близко, что я вижу каждую морщинку вокруг них, каждый оттенок—от серого к голубому, каждую рыжую ресницу, торчащую под странным углом.

— Доверься мне.

Тихий голос. Ровный. Уверенный—но не та уверенность, что была в академии, не слепая, не наигранная. Что-то глубже. Что-то выстраданное.

— Осталось чуть-чуть, и все наши проблемы решатся.

Пауза. Его пальцы сжимают мои ладони—лёгкое давление, едва ощутимое, но достаточное, чтобы я почувствовала—физически почувствовала—каждую костяшку, каждую мозоль, каждую шероховатость на его коже.

— Мы предназначены друг для друга.

Слова. Простые. Прямые. Как удар—чистый, точный, без предупреждения.

— Я не могу тебя оставить. Моя душа говорит, что без тебя у меня нет будущего. Жизнь будет пустой и бессмысленной.

Что-то происходит. Физически—я чувствую это всем телом, каждой клеткой, каждым нервным окончанием. Сердце—стучит где-то в горле, так громко, что, кажется, его слышно на другом конце комнаты. Мысли—путаются, накладываются друг на друга, превращаясь в белый шум, в котором невозможно разобрать ни одной внятной идеи. Голова—тяжёлая, будто наполненная свинцом. Язык—пересохший, во рту—медный привкус, знакомый по тем редким моментам, когда страх был настолько сильным, что становился почти вкусовым ощущением.

А руки... руки покалывают. Слегка. Как будто кто-то провёл по ним иглой—не больно, странно, почти приятно.

И я стою здесь. В чужой комнате. С трясущимися руками и сухим языком. И смотрю на этого человека—этого странного, непредсказуемого, абсолютно искреннего человека—и не знаю, что сказать.

Потому что часть меня—рациональная, академическая, пять лет учившаяся не доверять первому впечатлению—кричит, что это опасно. Что я почти не знаю его. Что всё это слишком быстро, слишком интенсивно, слишком... сказочно, чтобы быть правдой.

А другая часть—та, что сидела на табуретке у забора и слушала романы—шепчет что-то другое. Что-то тихое. Тёплое. Неуместное в данной ситуации, но от этого не менее настоящее.

Она шепчет: я знаю его. Знаю давно. Знаю с того момента, как он упал со стремянки и посмотрел на меня таким взглядом—ошарашенным, восхищённым, будто увидел не человека, а откровение.

И, возможно, это опаснее всего.

Тишина. Глубокая, оглушительная, заполняющая комнату так плотно, что слышно собственное сердцебиение—громкое, неровное, выбивающее какой-то странный, сбившийся ритм.

Я стою перед ним. Руки всё ещё в его руках. Ладони—прижаты к его груди, и я чувствую сквозь тонкую ткань рубашки—тёплую кожу, рёбра, сердце, бьющееся так же быстро, как моё, если не быстрее.

— Ты сказал «душа». — Голос звучит чужим—тихим, хриплым, будто кто-то другой говорит моими губами. — Ты можешь говорить с душой?

Он улыбается. Криво. Неловко. Руки отпускают мои—медленно, неохотно, пальцы скользят по ладоням, оставляя после себя странное, почти физическое ощущение пустоты.

— В каком-то роде да.

Он садится на пол. Посередине комнаты, на голых досках, без ковра, без подушки—просто на дереве, которое, должно быть, холодное под его штанами. Принимает позу—ноги скрещены, спина прямая, руки на коленях ладонями вверх. Поза лотоса. Идеальная, отточенная, как будто он делает это каждый день. Возможно, так и есть.

— Повторяй за мной. И всё увидишь.

Не вопрос. Не предложение. Уверенность—та же, что была на стремянке, когда он распиливал мою палочку. Та же, что была у кладовки, когда объяснял про мана-ткань. Абсолютная, непоколебимая, не оставляющая пространства для сомнений.

Сажусь напротив. Ноги не гнутся так, как надо—академия учила многим вещам, но не медитации—так что получается криво, несимметрично, с одним коленом выше другого. Он этого не комментирует. Просто протягивает руки—ладонями вверх.

Кладу свои поверх его. Кожа на коже—тёплая, сухая, слегка шершавая на кончиках пальцев.

— Теперь думай только обо мне. — Голос тихий. Ровный. Почти монотонный, как будто он читает инструкцию, которую знает наизусть. — И старайся отстраниться от всего остального мира.

— Я уже... — начинаю я, и голос срывается на полуслове от смущения, которое, кажется, стало моим постоянным спутником в его присутствии.

— Это хорошо. — Он засмущался—видно по тому, как губы подрагивают, пытаясь удержать улыбку. — Закрывай глаза. И продолжай.

Закрываю. Тьма. Полная, абсолютная, без единой точки света. И с ней—тишина. Настоящая тишина—не та, что была в комнате, а что-то глубже. Исчезают запахи—прокисшее пиво снизу, древесный дым, химический аромат его чернил. Исчезают ощущения—ветерок из щели в окне, холод дерева подо мной, даже вес собственного тела, который вдруг становится неощутимым, будто меня оторвали от земли и оставили висеть в пустоте.

Мир замолчал. Полностью. Безоговорочно. Как будто кто-то выключил звук.

— Открывай глаза.

Открываю. И замираю.

Комната. Маленькая. Совсем другая—не его комната в таверне, не академическая кладовка, не что-либо из того, что я видела раньше. Что-то среднее между пещерой и мастерской—каменные стены, грубо обработанные, местами покрытые мхом, а посреди—верстак. Огромный, массивный, из тёмного дерева, на котором...

Книга. Толстая, в кожаном переплете, лежащая ровно по центру, как будто кто-то специально положил её там, зная, что я приду. На обложке—надпись. Чёткая, разборчивая, выведенная тем же аккуратным почерком, что и список рун на листке.

Дар Начертание.

— Можно? — спрашиваю я. Голос звучит странно—приглушённо, будто доносится издалека, хотя губы шевелятся здесь, в этой... где бы мы ни были.

— Конечно. — Его голос рядом—очень рядом, гораздо ближе, чем должен быть. Я чувствую его дыхание на затылке—тёплое, ровное, с лёгкой вибрацией, которая отзывается где-то под кожей, как будто кто-то проводит по ней смычком. — Это ведь твой дар. И только твой.

В этом пространстве всё... обострено. Чувства. Осязание. Даже расстояние—он стоит позади, достаточно близко, чтобы чувствовать тепло его тела, но я не вижу его—вижу только спину, затылок, рыжие волосы, которые здесь кажутся ярче, почти огненными на фоне тёмных стен пещеры.

Протягиваю руку. Касаюсь книги. Кончики пальцев встречаются с кожей переплёта—тёплой, почти живой, пульсирующей от прикосновения чем то собственным, чем то нечеловеческим.

И тогда—

Боль. Острая, пронзительная, режущая, как будто кто-то вогнал мне в череп раскалённый клинок и повернул его, разрезая мозг на части. Я кричу—или думаю, что кричу, в этом пространстве трудно понять, что реально, а что нет—и падаю на колени, хватаясь за голову руками, которые ничего не могут сделать с этой болью, с этим потоком, который обрушивается на меня со всех сторон сразу.

Информация. Миллионы частей. Миллиарды. Всё о Начертании—вся теория, вся практика, все руны, все комбинации, все возможности, все ограничения, всё, что когда-либо было известно об этом даре и многое из того, что не было—всё это врывается в моё сознание одновременно, как цунами, сметая на своём пути все барьеры, все фильтры, все механизмы защиты, которые мозг обычно выстраивает против слишком большого объёма данных.

— Что ты сделал? — Выдавливаю сквозь стиснутые зубы. Голос—хриплый, срывающийся, чуждый. — Что происходит?

— Эм, слушай меня. Внимательно. — Его руки—на моих плечах, потом на затылке, твёрдые, уверенные, держащие меня так, будто боятся, что я разобьюсь, упав на каменный пол этой воображаемой пещеры. — Не сопротивляйся информации. Расслабься. Думай обо мне.

Что-то меняется. Небольшое смещение—лёгкое, едва заметное. Его лоб прижимается к моему—тёплый, твёрдый, потный от напряжения. Правая рука—на затылке, пальцы впиваются в волосы, не больно, скорее—якорно, давая точку опоры в этом хаосе.

— Ты справишься. Ты сильная. Это твоя сила. Прими её и не сопротивляйся.

Пытаюсь. Изо всех сил. Расслабляю челюсть—сжата так, что болят зубы. Расслабляю плечи, которые напряжены до каменной твёрдости. Расслабляю... всё, что можно расслабить, а что нельзя—пытаюсь хотя бы не сжимать сильнее.

Становится легче. Немного. Очень немного—боль не уходит, просто отступает на полшага, давая передышку, достаточную, чтобы перевести дыхание.

И тогда—голос. Внутренний. Не его—мой собственный, но какой-то другой, более глубокий, более... древний, что ли. Тихий. Спокойный. Уверенный.

Думай только о нём. Вспомни вашу первую встречу.

Вспоминаю. Библиотечный коридор. Стремянка. Его падение. Книги, разбросанные по полу. Его глаза—серо-голубые, широко раскрытые, смотревшие на меня так, будто я не человек, а какое-то откровение.

— Нет, Эм. Ещё раньше. Вспоминай.

Ещё... раньше? Как можно раньше? Мы встретились вчера. Вчера утром. Больше ни—

Детство. Всплывает образ—смутный, размытый, как старая фотография, выцветшая от времени. Я—маленькая. Очень маленькая, лет четырёх, не больше. Иду по тропинке—узкой, пыльной, ведущей от нашего дома к ручью на окраине деревни. Держу маму за руку—её пальцы тёплые, уверенные, обхватывающие мои с той силой, которая говорит одновременно о любви и о страхе отпустить.

Напеваю. Какую-то бессмысленную песенку—набор звуков, а не слов, мелодию, которую, возможно, выдумала сама, а возможно, услышала от кого-то и запомнила фрагментами. Мама улыбается—вижу это боковым зрением, её профиль, освещённый утренним солнцем, мягкий, молодой, без тех морщин, что появятся позже, от забот и бессонных ночей.

Ручей. Небольшой, неглубокий, с каменистым дном, по которому вода бежит с тихим, успокаивающим журчанием. Мы подходим—и там, на другом берегу...

Женщина. С ребёнком. Мальчиком—немного старше меня, лет пяти, может, шести. Высокий для своего возраста, худощавый, с неопрятными рыжими волосами, которые торчат в разные стороны, как будто он только что проснулся и забыл их причесать.

Он замечает нас первым. Отрывается от того, чем был занят—вертел в руках палку, судя по всему—и идёт к нам. Пересекает ручей по камням—ловко, уверенно, ни разу не поскользнувшись—и останавливается передо мной. Смотрит. Так же, как вчера в коридоре—ошарашенно, восхищённо, будто видит не просто девочку, а что-то невероятное.

— Алан Стрейт. Приятно познакомиться, миледи.

Кланяется. Неловко, криво, одна рука за спиной, другая—прижата к груди в каком-то полупоклоне, который, должно быть, видел в книге или подсмотрел у взрослых. Ждёт ответа—стоит так, выпрямившись, с серьёзным выражением на лице, которое не сочетается с его взъерошенными волосами и запачканной грязью рубашкой.

Мама смеётся. Тихим, тёплым смехом, который я слышала редко—обычно она была серьёзной, озабоченной, погружённой в мысли о доме, о поле, о том, что приготовить на ужин. А сейчас—расслабленная. Счастливая, почти.

— Давай, Эмма. Представься этому юному джентльмену.

Эмма. Не Эмили—Эмма. Детское сокращение, которое использовали только родители и только дома. И которое она произносит сейчас с той лёгкостью, с которой обычно говорит «доченька» или «солнышко»—нежно, без намёка на формальность.

— Эмили Вест. Приятно познакомиться, сударь.

Говорю это так же серьёзно, как он. Подражаю его поклону—неуклюже, криво, одна нога отставлена назад, спина сгорблена больше, чем нужно. Но он, кажется, не замечает несовершенства—улыбается. Широко, искренне, всеми зубами, которые у него есть—не все ещё выросли, судя по дырочкам.

— Мам! — Поворачивается к женщине на другом берегу—высокой, худой, с усталым лицом и руками, покрытыми мозолями. — А эта девочка не только красивая, но и вежливая! Можно я с ней подружусь?

Дёргает её за кафтан—старый, потертый, явно не первый год носящийся. Лицо женщины меняется—появляется что-то сложное. Нежность—к нему. Сожаление—ко мне. И что-то ещё—более тёмное, более взрослое, что я тогда не могла понять, а сейчас, глядя на это воспоминание со стороны, читаю без труда.

Социальная дистанция. Пропасть между дочерью деревенского головы и сыном бедного лесоруба. Пропасть, которую в Ривен Роуд ощущали все—даже дети, даже не понимая, почему одни дома больше других, почему одни едят мясо по воскресеньям, а другие—редко.

— Нет, сынок. — Голос её—тихий, мягкий, но твёрдый. Берёт его за руку—так же, как моя мама держит меня, с той же смесью любви и необходимости увести. — Она дочь главы деревни. У неё своя жизнь. А у тебя—своя.

Тянет его в сторону. К деревне. К дому. К той жизни, которая ждёт его там—бедной, тяжёлой, но своей.

— Простите нас. — Кланяется—неглубоко, вежливо, с тем достоинством, которое есть у людей, привыкших к труду и не стыдящихся его. — Он ещё слишком мал. Не знает, как тут всё устроено.

Идут. Медленно. Он—оборачивается. Раз. Два. Третий раз—останавливается, вырывает руку из материнской хватки, и кричит через ручей. Громко. Отчаянно. С той слепой, детской верой в будущее, которое ещё можно изменить одним желанием, одним обещанием.

— Эмили! Жди меня! Я обязательно найду тебя! Когда-нибудь мы покинем деревню и станем лучшими друзьями!

Голос. Высокий, детский, сорванный от напряжения. И глаза—те же самые. Серо-голубые. Только ярче—не затемнённые годами, не потрёпанные жизнью, а чистые, ясные, полные той уверенности, которая бывает только у детей, ещё не научившихся сомневаться.

Боль исчезает. Просто—исчезает. Как будто её и не было. Как будто кто-то выдернул тот раскалённый клинок из моего черепа и на его месте оставил... пустоту. Тихую. Спокойную. Наполненную чем-то другим—не информацией, не знанием, а чем-то более личным, более человеческим.

Он обнимает меня. Руки—вокруг плеч, крепкие, тёплые, держащие так, будто боятся, что я рассыплюсь на части, если отпустят. Голос—тихий, почти шёпотом, прямо у уха, повторяющий одно и то же, снова и снова, как мантру, как заклинание.

— Ты справишься. У тебя получится. Я верю в тебя.

Я сижу на коленях в этой воображаемой пещере, прижавшись лбом к его груди, и слушаю, как бьётся его сердце—ровно, сильно, с тем ритмом, который, кажется, отзывается где-то глубоко во мне, под рёбрами, в месте, которое я обычно тщательно охраняю.

— Ты в порядке? — тихо спрашивает он.

— Да. В порядке.

Пауза. Длинная. Тяжёлая. Заполненная только звуком нашего дыхания—синхронного, ровного, как будто наши тела договорились без слов и теперь дышат в унисон.

— Что это было?

— Это моя способность. «Созидание». — Он отстраняется—немного, достаточно, чтобы я могла видеть его лицо. Те же глаза. Те же морщины вокруг них. Та же кривая улыбка, которая сейчас выглядит... уставшей. Облегчённой. — После улучшения на вторую ступень я открыл навык «Передача информации». Это то, что ты испытала.

Передача информации. Два слова, которые ничего не объясняют—и объясняют всё. Его понимание моего дара с первого взгляда. Его способность оптимизировать руны, которые я рисовала годами, не видя их потенциала. Его уверенность—не слепая, не наигранная, а основанная на знании. На прямом доступе к этому знанию, который его дар предоставляет.

— А теперь представь, как создать плащ-невидимку.

Концентрируюсь. И понимаю—уже знаю. Всё. Каждую деталь. Каждый материал. Каждую руну, её расположение, её взаимодействие с другими, то, как мана течёт по волокнам мана-ткани, создавая тот самый эффект—отражение света снаружи, ограниченную видимость изнутри через контролируемую щель.

Всё это теперь—во мне. Как будто я сама его создавала. Как будто потратила на это месяцы, а не получила за несколько минут болезненного информационного шока.

— Это чудо!

Бросаюсь на него. Обнимаю—крепко, отчаянно, всем телом, как будто пытаюсь передать через прикосновение то, что не могу выразить словами. А слова... слова не нужны. Они бесполезны против этого чувства—этого опьянения, этой радости, этой странной, необъяснимой уверенности, что вместе мы можем всё. Абсолютно всё.

А потом—останавливаюсь. Отстраняюсь. Смотрю ему в глаза—вплотную, так близко, что вижу каждую рыжую ресницу, каждую морщинку, каждый оттенок радужки, переходящий от серого к голубому.

— Мне явилось видение. Мы в детстве. У реки. — Голос дрожит—слегка, почти незаметно. — Ты серьёзно помнишь то обещание?

— Да.

Одно слово. Простое. Прямое. Без оговорок, без уклонений, без той театральности, что была в его «миледи» и поклонах. Чистая правда—голая, неудобная, прекрасная в своей простоте.

— Я искал тебя. — Пауза. Его пальцы—на моих плечах, сжимают слегка, как будто он боится, что я исчезну, если отпустит. — И после нашей встречи в коридоре академии до меня не сразу дошло, что это ты. Буду честен.

Честен. Он всегда честен—это я начинаю понимать. Даже когда врёт—а он врёт, конечно, с его театральными поклонами и «миледи»—за этой ложью всегда есть что-то настоящее. Какая-то правда, которую он не может выразить прямо, поэтому оборачивает её в театр, в игру, в тот фасад, за которым прячется что-то более уязвимое.

— Но благодаря тебе я достиг третьей ступени эволюции дара. — Говорит это спокойно, как будто сообщает о погоде. — Что значительно ускорило моё мышление в этом пространстве.

Простое предложение. С огромными последствиями.

— Например, сорок пять минут здесь равны всего 0,45 секунды снаружи. То есть один час—это одна секунда в реальном времени.

Время. Он контролирует время. В этом пространстве—нашем пространстве, созданном его сознанием, куда он может погружаться и брать с собой других. Где сорок пять минут сжаты в доли секунды. Где мы можем обсуждать, исследовать, планировать—и вернуться в реальный мир, почти не потратив времени.

Это... невероятно. Это переписывает всё, что я знала о магии. Всё, чему учили в академии. Всю ту иерархию даров, которая ставила боевые способности на вершину, а всё остальное—где-то внизу, в категории «полезно, но не впечатляюще».

— Самое удивительное—это открытие новой способности после получения третьей ступени.

Новая способность. У него их уже сколько? «Созидание»—базовая. «Передача информации»—вторая ступень. И теперь—что-то ещё, что он, судя по тону, только начинает понимать сам.

— У тебя есть ещё скрытые таланты? — Смеюсь—резко, нервно, без радости. — Не слишком ли много для одного человека?

— По сравнению с твоим даром мой кажется откровенным мусором. — Улыбается—криво, неловко, с той самоиронией, которая, кажется, его единственная защита от собственной гениальности. — И чтобы развить мою способность, мне нужна твоя помощь.

Пауза. Длинная. Наполненная только звуком нашего дыхания и тем странным, почти физическим напряжением, которое висит в воздухе между нами—как будто пространство само по себе стало проводником для чего-то, что я не могу назвать.

— Используй руну ясности на моём сознании.

Протягиваю руку. К его голове—медленно, неуверенно, не совсем понимая, что делаю, но чувствуя—инстинктивно, на уровне, глубже рационального—что это правильно. Что это единственный путь вперёд, единственный способ увидеть то, что он хочет мне показать.

Кончики пальцев касаются его виска. Тёплого, слегка влажного от напряжения, пульсирующего под кожей в ритме, который почти совпадает с моим собственным сердцебиением.

Концентрируюсь. Руна ясности—простая, базовая, одна из первых, которым учат на первом курсе. Рисую её в воздухе перед его лицом—лёгкое движение пальцем, которое оставляет после себя слабый голубоватый след, быстро растворяющийся в пространстве.

И пространство... меняется. Озаряется светом—ярким, белым, чистым, который сметает туман, скрывавший детали пещеры. Стены—оказываются не просто каменными, а покрытыми... чертежами. Тысячами. Миллионами линий, цифр, символов, которые тянутся в обе стороны, насколько хватает глаз, превращая пещеру в гигантскую трёхмерную схему чего-то слишком сложного, чтобы понять с первого взгляда.

Верстак. Шкафы. И—путь. Уходящий вглубь, в темноту, которую свет ещё не достиг, оставляя её скрытой, таинственной, обещающей что-то большее, чем то, что видно сейчас.

Шаги. Из темноты. Ровные, размеренные, неспешные—как будто кто-то идёт по знакомому маршруту, не торопясь, наслаждаясь процессом. И появляется...

Он. Алан. Тот же—и совершенно другой. Высокий, худощавый, с теми же чертами лица, теми же рыжими волосами... но полностью серый. Кожа—пепельно-серая, без единого оттенка тепла. Волосы—такого же цвета, матовые, без блеска. Одежда—простая, бесформенная, тоже серая. И глаза... глаза самые странные. Чисто белые, без радужки, без зрачков, просто—белые, как молоко, светящиеся изнутри тем же холодным, безличным светом, что и всё его тело.

— Ты кто? — спрашиваю я. Голос звучит чужеродно—тихим, приглушённым эхом, отдающимся от каменных стен.

Серый Алан улыбается. Криво. Так же, как настоящий—одна сторона рта выше другой, создавая то несимметричное выражение, которое я уже начала узнавать как его фирменное.

— Я—это он. А он—это я. — Голос—такой же, но... пустой. Без эмоций. Без тех подтекстов, что есть у настоящего Алана—без теплоты, без неуверенности, без той человеческой сложности, что делает его живым. — Я есть его дар. И я благодарен тебе, девочка, что ты помогла этой бездарности хоть немного раскрыть его способности.

Настоящий Алан—рядом со мной—напрягается. Видно по тому, как меняется его поза—плечи сжимаются, челюсть напрягается, взгляд становится... не то чтобы враждебным, но определённо недружелюбным. Как будто он и его дар—не самые большие друзья, и это знакомство даётся ему нелегко.

— Без тебя это заняло бы много лет. — Серый Алан проходит мимо нас—близко, так близко, что я чувствую холод, исходящий от его кожи, будто он сделан не из плоти, а из чего-то другого, более плотного, более... безжизненного. — Я изначальное существо. Суть вещей и знания, что были, есть или будут доступны вашему виду.

Останавливается. Поворачивается. Его белые глаза—без зрачков, без радужки—смотрят на меня с таким интенсивным, почти физическим вниманием, что по спине бегут мурашки.

— Честно говоря, я не хотел бы пересекаться с твоим даром внутри моего мира.

— Почему же?

Вопрос вырывается сам—необдуманный, инстинктивный, рождённый чистой любознательностью, которая всегда была моей силой и моей слабостью одновременно.

Серый Алан замирает. Его лицо—если можно назвать лицом это неподвижное, маскообразное сооружение—меняется. Не эмоциями—их там нет, не может быть—а чем-то другим. Сложностью. Глубиной. Как будто за этой маской скрывается нечто настолько огромное, что даже его безличная, нечеловеческая сущность не может выразить это прямо.

— Потому что с тем—а лучше сказать, с той, что находится внутри тебя—у меня были некие разногласия в прошлом.

Прошлом. Какое прошлое может быть у дара? У магической способности, которая, по всем академическим канонам, является просто проявлением внутренней маны, структурированной определённым образом? Никакого прошлого. Никакой истории. Никаких «разногласий» между абстрактными концепциями.

Но он говорит об этом так, будто это—реальность. Так же реально, как камни под ногами, как стены пещеры вокруг нас, как настоящее тело Алана, стоящее рядом со мной и явно испытывающее дискомфорт от этого разговора.

— Если сократить ненужные факты, — продолжает серый Алан, его голос становясь... тише? Нет, не тише—менее уверенным. Как будто даже эта безличная сущность не хочет говорить на эту тему. — То она—одна из высших. А я—один из низших...

Голос обрывается. Резко. Насильственно. Как будто кто-то—или что-то—перерезал ему горло одним движением, оставив последнее слово висеть в воздухе, недосказанным, угрожающим своей незавершённостью.

Настоящий Алан шагает вперёд. Встаёт между мной и серой версией себя—защитная поза, инстинктивная, неосознанная, как будто его тело среагировало раньше, чем мозг успел обдумать ситуацию.

— Мы не можем знать, что невозможно доказать. — Голос ровный. Спокойный. Но в нём—напряжение. То же, что было в кладовке, когда он говорил о доверии, о том, как оно дорого стоит в нашем мире. — По крайней мере, пока.

Серый Алан смотрит на него. Теми белыми, бездушными глазами—долго, пристально, с чем-то, что, если бы это был человек, я назвала бы... разочарованием? Недовольством? Сложно сказать. Эмоциональные категории не работают здесь.

— Ты поняла, что его цель—понять суть и историю наших способностей. — Обращается ко мне, игнорируя настоящего Алана, стоящего между нами. — Если узнаем суть мира, сможем освободиться от оков сущностей.

Оков. Странное слово. Звучащее не по-человечески—слишком абстрактно, слишком... метафизически, для разговора о магии, которую академия преподаёт как науку, а церковь—как божественный дар.

— Оков? — переспрашиваю я. Не успеваю договорить—

И мы—снова в его комнате. В таверне. На голых досках пола, сидя друг напротив друга в позе лотоса, с нашими руками—всё ещё соединёнными, ладонь в ладони, пальцы в пальцах, как будто кто-то заморозил нас в тот момент, когда пространство вокруг начало меняться.

Переход—резкий. Как будто меня выдернули из одного мира и швырнули в другой, не дав времени на адаптацию. Голова кружится—слегка, не критично, но достаточно, чтобы я на мгновение закрыла глаза, пытаясь стабилизироваться.

— Ты хочешь сказать, что магия—эло?

— Не совсем. — Его голос—настоящий, человеческий, с той теплотой и неуверенностью, что отличают его от серой версии. — Всё станет ясно, когда поможешь мне разгадать все аспекты своего дара.

Смотрит на меня—и в его глазах что-то новое. Что-то, чего я не видела раньше. Нервозность. Страх. Настоящий, неприкрытый страх, который он пытается скрыть за прямой спиной и ровным голосом, но который читается в каждом микродвижении—в подрагивании уголков губ, в том, как пальцы сжимают мои чуть сильнее, чем нужно.

— У тебя есть страх? — спрашиваю я. Прямо. Без обиняков. Как он сам—когда это касается важных вещей.

Он замирает. Смотрит на меня—долго, пристально, будто проверяя, серьёзно ли я, действительно ли хочу услышать ответ—и потом... расслабляется. Плечи опускаются. Челюсть разжимается. Взгляд становится... мягче. Уязвимее. Человечнее.

— Да, Эмили. — Тихий голос. Едва слышный. — Я боюсь, что ты отвернешься. Без тебя я не смогу открыть следующую ступень. И пересечь океан.

Океан. Слово висит в воздухе между нами—тяжёлое, неудобное, недосказанное, которое я только начинаю понимать.

— Ты серьёзно собираешься пересечь океан?

Смотрю на него с недоверием, которое возникло с годами академического обучения, где океан упоминался ровно один раз, на лекции по географии, и описывался как «Великое Ничто»—пустота, конец мира, за которым нет ничего, кроме бесконечной воды и, возможно, смерти для тех, кто рискнёт отплыть слишком далеко.

Он срывает полог со стены—быстрым, решительным движением, как будто откладывал этот момент и теперь, раз уж разговор зашёл так далеко, решил показать всё.

Карта. Висит на стене—большая, подробная, нарисованная от руки на куске грубого пергамента, который, судя по пожелтевшим краям, был создан не вчера. Континент—наш, знакомый, с очертаниями, которые я узнаю с первого взгляда. Королевство Хеллос. Города—Прайвуд, столица, отмеченная крупным кружком. Деревни—мелкие точки, разбросанные по побережью и в глубине материка.

И вокруг—вода. Океан. Огромный, безбрежный, занимающий добрых три четверти карты. А на нём—линии. Десятки, сотни тонких, аккуратных линий, расходящихся от нашего побережья в разные стороны, как лучи от солнца. Маршруты. Расчёты. Попытки найти путь через то, что церковь называет «Великим Ничто».

— Ал. — Голос срывается. — Мы действительно живём на острове?

— Да. — Кивает—один раз, коротко, без колебаний. — Он занимает менее пяти процентов всей суши. По сравнению с остальным миром.

Остальной мир. Два слова, которые ничего не значат—и переворачивают всё, что я знала о географии, о истории, о том, как устроен этот мир и наше место в нём.

Меньше пяти процентов. Крошечный островок. Затерянный в океане, который церковь называет пустотой, концом всего, а он—Алан, простой рабочий—называет... миром. Большим. Настоящим. Ждущим там, за горизонтом, куда никто не осмеливается плыть, потому что церковь сказала, что там ничего нет.

— Сегодня я точно не усну.

Говорю это с удивлением—искренним, не притворным. Потому что это правда. После всего, что я увидела за эти... сколько там было? Часы? Минуты? Секунды, в реальном времени—я не смогу закрыть глаза без того, чтобы не увидеть эту карту. Эти линии. Этот океан, который внезапно перестал быть Ничем и стал... чем-то. Возможностью. Угрозой. И тем, и другим одновременно.

— Конечно. — Он улыбается—криво, неловко, с той смесью гордости и смущения, что становится его фирменным выражением. — Ведь я обещал, что эта ночь будет особенной.

— Ты прав. Сегодня я узнала слишком много.

Слишком—не то слово. Неадекватное. Не передающее масштаба того, что произошло—как моё представление о мире, о магии, о самом себе было пересобрано за несколько часов знакомства с этим человеком, как карточный домик, который кто-то ткнул пальцем, и вместо хаоса обнаружилась... новая структура. Более сложная. Более пугающая. Более прекрасная.

— Что скажет церковь святого Аврама? — спрашиваю я. — Они смогут принять твою теорию?

Он смеётся. Коротко, резко, без радости—скорее, с той горечью, что бывает у людей, которые слишком долго бились головой о стену и в итоге поняли, что стена не сдвинется, сколько ни бейся.

— Нет. Именно поэтому нам и нужно покинуть эти земли. — Пауза. Его лицо становится серьёзным—по-настоящему серьёзным, без намёка на театральность или игру. — Скоро за тобой начнётся настоящая охота.

— Она уже началась. — Вспоминаю Глэма. Его кольцо. Его поклон, идеальный, отрепетированный, с тем расчётом, который читался в каждом движении. — Сегодня меня пыталась завербовать знать. Предлагая женитьбу.

— А завтра попытается весь остров.

Говорит это так легко—с той небрежностью, с какой сообщают о погоде или расписании лекций. Как будто тот факт, что за мной, Эмили Вест, скоро начнёт охотиться вся аристократия королевства—не глобальная проблема, а просто очередной пункт в списке дел, который нужно учитывать при планировании.

И, возможно, для него это так и есть. После всего, что я увидела—его дар, его сознание, серая сущность, что назвала себя «изначальным существом»—охота аристократии кажется... мелкой. Раздражающей, но управляемой. Как комариный укус на фоне раскалённого ножа в черепе.

— У тебя есть план?

— Безусловно. — Уверенность возвращается—та же, что была на стремянке, в кладовке, во всём, что он делает, когда перестаёт играть роли и становится собой. — Сначала мы завершим подготовку. А завтра встретимся на том же месте. И уедем из этого города.

Уедем. Из Прайвуда. Из академии. Из всего, что я знала последние пять лет. В неизвестность. К океану. К континенту, который, по словам церкви, не существует, а по его расчётам—гораздо больше нашего родного острова.

— Значит, впереди ещё много сюрпризов.

— Это мои слова. — Его лицо—сияющее. Восторженное. С тем выражением, которое бывает у детей, когда они рассказывают о своих мечтах, ещё не научившись скрывать эмоции под маской взрослости.

И мне становится... не по себе. Не от страха—от чего-то другого. От масштаба. От того, как быстро всё изменилось. Как вчера я была просто студенткой на грани отчисления, а сегодня стою на пороге чего-то, что перевернёт не только мою жизнь, но, возможно, всё понимание магии в этом мире.

Боже. С кем я связалась.

И, что самое странное—я не хочу отвязываться.

Спустя время—не знаю, сколько именно, в этой комнате время течёт странно, то растягиваясь, то сжимаясь, как будто подчиняется не часам на стене, а какому-то внутреннему ритму, который задаёт он сам—Алан достаёт из шкафа свёрток. Небольшой, аккуратный, перевязанный бечёвкой, который он кладёт передо мной на стол с той же торжественностью, с какой священник кладёт святыню на алтарь.

— Вот. Твой походный комплект одежды.

Развязывает. Разворачивает. И я вижу...

Один комплект. Один. Единственный. Штаны—прочные, тёмные, из той же мана-ткани, что и плащ, только более плотные, более продуманные, с какими-то внутренними карманами, которые, я уверена, он продумал до мелочей. Рубашка—простая, белая, с длинными рукавами и высоким воротником, который должен защищать от ветра, солнца и, вероятно, ещё дюжины вещей, о которых я даже не подозреваю. Жилетка—кожаная, поношенная, явно его собственная, переделанная под мой размер.

И под всем этим—бельё. Трусы. Те самые «тканевые полоски», которые он с гордостью называет нижним бельём.

Я поднимаю их. Держу перед собой. Разглядываю—с преувеличенным вниманием, с тем выражением лица, которое я обычно подготавливаю для очень плохих студенческих работ на семинарах по магической теории.

— Всего один, — говорю я. Голос ровный. Спокойный. С той ледяной вежливостью, которая, как я знаю по опыту, пугает людей больше, чем крик. — Наверное, ты забыл. Ну тогда я напомню.

Пауза. Драматическая. Рассчитанная.

— Я де-ву-шка. И мне одного комплекта мало.

Он моргает. Один раз. Медленно. Как будто его мозг переваривает эту информацию с той скоростью, с какой обычно переваривает расчёты прочности материалов или оптимальные углы заточки инструментов.

— А это что, — продолжаю я, поднимая трусы ещё выше, так что они оказываются на уровне его лица, — трусы? Эти тканевые полоски ты называешь трусами?

Его щёки розовеют. Сначала слегка—едва заметный румянец, проступающий под загаром. Потом—ярче. Глубже. Распространяясь на шею, на уши, превращая его в одного большого, рыжего, крайне неловко себя чувствующего человека, который явно не рассчитывал на этот поворот разговора.

— Извини. — Голос тихий. Сдавленный. — У меня была всего одна ночь, чтобы создать комплект для нас обоих. И это не обычная одежда.

Оправдывается. Мило. Детски. С той искренностью, с которой ребёнок объясняет, почему разбил вазу—не потому что баловался, а потому что хотел посмотреть, как она летит.

— На них нанесены защитные и чистящие руны. Так что менять их не нужно. Они просто не будут пачкаться.

Впервые вижу, как он выходит из себя. Настоящего, не наигранного—руки жестикулируют, слова вылетают быстрее, чем мозг успевает их проверить, на лбу выступает испарина, тонкая, едва заметная в свете лампы. Он нервничает. Из-за нижнего белья. Из-за того, что я критикую его дизайн.

И мне... весело. Невыносимо, неадекватно, совершенно неподходяще для ситуации весело. Что-то щёлкает внутри—какой-то переключатель, который переводит всё происходящее из категории «серьёзная подготовка к побегу» в категорию «абсурдная комедия положений», и я не могу остановиться.

— То есть у тебя было мало материалов, да?

— Всё так. — Утвердительный кивок. Серьёзный. Как будто мы обсуждаем не трусы, а конструкцию моста через пропасть.

— Снимай штаны.

Он замирает. Полностью. Абсолютно. Как будто я сказала не «сними штаны», а «сейчас взорвётся бомба».

— Что?

— Трусы. К осмотру. — Улыбаюсь—широко, беззастенчиво, с тем выражением, которое Лейла обычно называет «я сейчас кого-нибудь убью, и мне это понравится». — На себя ты явно не пожалел ткани.

Набрасываюсь. Фигурально—руки тянутся к его поясу, пальцы ищут пряжку, которую он, судя по всему, затянул намертво, возможно, предчувствуя этот поворот событий. Он отступает—шаг назад, потом ещё один, пока спина не упирается в стену, а руки—подняты в защитной позе, как будто я не девушка, пытающаяся снять с него штаны, а разъярённый медведь.

— Что ты творишь? У нас мало времени!

Голос—высокий. Сорванный. На грани истерики—или смеха, сложно сказать, возможно, и того, и другого одновременно.

— Я сказала «цыц». — Продолжаю наступление. Пальцы находят пряжку—твёрдую, металлическую, холодную на ощупь. — Штаны на пол. Трусы—смотрю.

Он пытается остановить меня—руками, словами, взглядом, в котором смешались ужас, неловкость и что-то ещё, что я не хочу анализировать. Но я наслаждаюсь моментом. Каждой секундой. Каждым его смущённым жестом, каждым неловким «Эм, пожалуйста», каждым румянцем, который расползается по его лицу, как чернильное пятно по мокрой бумаге.

Хорошо быть девушкой. Можно приставать сколько угодно, а в ответ получишь максимум лишь возмущение. Без последствий. Без риска. Просто чистое, неразбавленное удовольствие от того, что ты держишь ситуацию под контролем, а он—нет.

Спустя время. Посреди комнаты. Спинами к кровати, ногами вытянутыми перед собой, в позе, которая напоминает скорее двух уставших детей после долгой игры, чем двух взрослых, готовящихся к побегу из города.

Я чувствую лёгкую жажду. И что-то ещё—лёгкость. Странную, почти пьянящую лёгкость, которая разливается по телу, снимая напряжение последних часов, последних дней, последних лет, проведённых в академии с постоянным чувством, что ты недостаточно хороша, недостаточно сильна, недостаточно... чего бы то ни было.

— Надеюсь, ты закончила свои домогательства.

Его голос—ровный, но с лёгкой дрожью где-то на заднем плане, будто он до сих пор не оправился от того, что только что произошло, и пытается вернуть разговору хоть каплю серьёзности.

— Что, вам что-то не нравится? — Откидываю голову. Смотрю на него снизу вверх—официально, с намёком на иронию, с той интонацией, которую используют придворные, обращаясь к вышестоящим, когда хотят подчеркнуть собственную незначительность, не веря в неё ни на секунду.

Он вздыхает. Длинно. Глубоко. С тем звуком, который издают люди, когда понимают, что битва проиграна, и остаётся только смириться с поражением и двигаться дальше.

— Я бы продолжил это весёлое времяпрепровождение, но напомню—у нас мало времени.

Выпрямляюсь. Настраиваюсь. Переключаю передачи—с «весёлой Эммы» на «серьёзную Эмму», с той лёгкостью, которую выработала за годы учёбы, когда нужно было за пять минут перейти от сплетен с Лейлой к экзамену по теории маны.

— Я готова, сэр. Приказывайте.

— Спасибо. — Кивает—один раз, коротко, с благодарностью, которая, кажется, направлена не столько на мою готовность работать, сколько на то, что я наконец-то перестала с него что-то снимать. — Продолжим.

Подходит к столу. Достаёт оттуда—аккуратно, бережно—небольшую коробочку. Деревянную, полированную, с медными уголками, которая, когда он открывает её, оказывается filled с чем-то, что я сначала принимаю за чернила—густыми, тёмными, почти чёрными, с лёгким голубоватым отливом при свете лампы.

— Как ты уже успела понять, твой дар позволяет наносить руны в виде тату на тело.

— Да, сэр. Я об этом узнала из той книги. — Вспоминаю—боль, поток информации, тот момент в пещере, когда прикосновение к книге едва не вырубило меня на месте. — Информация сама появилась в моей голове. Но как мы это используем?

— Мы будем использовать вторую ступень развития твоего дара. — Поднимает рукав своей рубахи—левый, до локтя, обнажая предплечье, покрытое... чем-то. Не татуировкой в привычном понимании—скорее, контуром. Светлым, едва заметным на коже, образующим овальную область размером с монету, внутри которой—чего-то нет. Пока нет. — Позволяющую встраивать смысл в руну, делая её более сложной, составной. С более сильным эффектом и большим расходом маны.

Смотрит на меня—прямо, серьёзно, с тем выражением, которое бывает у преподавателей, когда они объясняют что-то важное и хотят быть уверены, что ученик не просто кивает, а действительно понимает.

— Но у нас мало времени. Когда успеем это сделать?

— Проще показать.

Берёт шприц—маленький, металлический, с тонкой иглой, который я сначала принимаю за медицинский инструмент, пока не понимаю, что он заполнен теми же чернилами из коробочки. Вводит иглу под кожу—в центр того светлого овала на предплечье. Медленно, аккуратно, с концентрацией хирурга-мага, выполняющего сложную операцию.

Чернила входят. Растекаются. Формируют—не сразу, постепенно, по мере того как он вводит их под кожу—изображение. Человека. Окружённого огнём—стилизованным, символическим, больше похожим на диаграмму, чем на реалистичный рисунок.

— Ты хорошо рисуешь, — говорю я. Автоматически. Не думая.

Концентрируюсь. Чувствую, как что-то меняется—в пальцах, в кончиках, в том месте, где мана обычно собирается перед тем, как вырваться наружу в виде руны. Но теперь—она течёт иначе. Медленнее. Глубже. Не наружу—внутрь. В эти чернила. В этот рисунок. В эту кожу—его кожу—которая под моим прикосновением становится... проводящей. Как мана-ткань. Как что-то, что может удерживать руну не на поверхности, а в глубине, делая её частью тела, а не внешним дополнением.

Чернила растекаются. Заполняют контур. Создают что-то цельное—не просто рисунок, а... структуру. Сложную, многослойную, которую я чувствую кончиками пальцев, даже не видя её полностью.

— Готово. Что дальше?

— Наложи на этот рисунок руну прозрачности.

Смотрю на него—удивлённо. Руна прозрачности на татуировке? Которая и так невидима под одеждой? Но он серьёзен—абсолютно, без намёка на шутку—так что я просто киваю и делаю то, что он просит.

Лёгкое движение пальцем. Руна—крошечная, едва заметная, нанесённая прямо поверх того места, где чернила только что вошли под кожу. И—исчезает. Не чернила—руна. Растворяется, впитывается, становится частью того же рисунка, добавляя ему... чего-то. Какой-то дополнительный слой сложности, который я чувствую, но не могу описать словами.

Он улыбается. Широко. Искренне. С тем восторгом, который бывает у детей, когда они видят, что собранный ими механизм—работает. Именно так, как задумано.

— Всё готово.

Пауза. Я смотрю на его руку—на то место, где только что была игла, а теперь—ничего. Ни шрама, ни покраснения, ни намёка на то, что под кожей находится one из самых сложных магических конструкций, которые я когда-либо создавала.

— А ну, подожди. — Вспоминаю. — Мне ведь тоже нужно нанести такие тату?

— Безусловно. Без них путешествие будет сложнее.

— Тогда я хочу, чтобы они выглядели по-другому. — Голос твёрдый. Уверенный. С той интонацией, которую я использую, когда что-то решено окончательно и бесповоротно. — Если я буду знать их смысл и принцип действия, смогу воспроизвести их сама. Правда?

Чувствую это—физически чувствую—как что-то меняется в моём понимании дара. Как границы расширяются. Как то, что вчера казалось невозможным—наложение одной руны на другую, создание составных эффектов, работа с телом как с материалом—теперь ощущается... естественным. Продолжением того, что я уже умею, а не прыжком в неизвестность.

— Хорошо. — Кивает—один раз, коротко, с тем уважением, которое появляется в его глазах, когда я проявляю инициативу, а не просто следую инструкциям. — Будь аккуратна. Потому что после нанесения место будет занято. И руны—большие. На руку их не поместить.

— Я поняла. Остаются только грудь и живот. — Говорю это прямо. Без смущения—по крайней мере, пытаюсь. — Потому что мне нужно видеть руну при её создании. И ещё много объяснений.

Смотрю на него. Вижу, как он переваривает это—«грудь и живот»—с той смесью профессионализма и легчайшего, едва заметного смущения, которая делает его одновременно взрослым и ребёнком. Учёным и мечтателем. Тем, кто он есть.

— Давай сразу к делу. Объясняй.

— В общем... — Начинает—медленно, тщательно подбирая слова, как будто переводит с языка, на котором думает, на тот, на котором говорю я. — Эта руна должна стать универсаль-

ным средством от всех болезней и воздействий со стороны. Включая контроль разума, захват души и высасывание маны. Также она повысит общее здоровье и добавит защиту от разных воздействий.

Пауза. Длинная. Тяжёлая.

— В общем, сказка, а не руна.

Снимает полотенце. С того предмета, что стоял в углу комнаты—овального, прикрытого тканью, который я до сих пор не замечала, слишком занятая всем остальным. И я...

Замираю.

Зеркало. Полноразмерное. Овальное. В раме из тёмного дерева, полированной до блеска, который поглащает свет лампы и отражает его мягкими, тёплыми бликами по всей комнате.

— Это что? — Шёпотом. Потому что громче—не получается. — Постоянное магическое зеркало? Как так?

— Нет, Эм. — Смеётся—тихо, нежно, с той теплотой, которая появляется в его голосе, когда он говорит о вещах, которые создал сам. — Это просто зеркало. Нам оно нужно, чтобы видеть, какие руны ты наносишь на тело.

Ставит его передо мной—аккуратно, бережно, как будто это хрупкий артефакт. И я вижу себя—полностью, целиком, впервые за... не помню, как долго. Не фрагментами—не отражением в луже, не обломкоммутногомана-зеркала в общественной уборной академии, а собой. Всей. С волосами, растрёпанными после плаща. С лицом, покрасневшим от смеха и, возможно, чего-то ещё. С глазами—широко раскрытыми, удивлёнными, почти не верящими тому, что видят.

— Если хочешь сделать зеркало, — продолжает он, и его голос становится... лекционным. Размеренным. Преподавательским, с той интонацией, которую используют, когда объясняют что-то фундаментальное, что должен знать каждый. — Нужно нагреть кварцевый песок до высокой температуры, чтобы...

Я теряю интерес. Не сразу—пытаюсь слушать, честно пытаюсь, киваю в нужных местах, делаю заинтересованное лицо—но мои глаза упорно возвращаются к зеркалу. К себе. К тому, как я выгляжу—не как серая мышь, не как разочарование академического совета, а как... человек. Живой. Настоящий. С морщинками вокруг глаз от смеха, с растрёпанными волосами, с тем выражением, которое я сама у себя редко вижу—расслабленным. Счастливым. Находящимся здесь и сейчас, а не в вечном состоянии тревоги о будущем.

— Неплохо, правда? — Говорю сама себе. Вслух. Не планировала—просто вырвалось. И тут же—смотрю на него. — Свет тут плохой. Обязательно нужно вернуться сюда днём.

Он заканчивает лекцию о том, как создавать зеркало в домашних условиях. С тем выражением лица, которое бывает у людей, когда они понимают, что их не слушают, но слишком увлечены темой, чтобы остановиться.

— Ты всё поняла? Это один из самых простых способов обработки материалов. Поэтому я не понимаю, почему люди до сих пор не используют их.

— Да, поняла. Всё ясно. — Лгу. Бесстыдно. Без малейших угрызений совести. — Я тоже не понимаю, почему их не делают. Ведь любая девушка за него душу отдаст.

— Ты действительно так считаешь? — Смотрит на меня—пристально, серьёзно, как будто мой ответ важен не как вежливая отговорка, а как важное мнение. — Тебе важно видеть своё отражение?

— Очень важно...

Не успеваю договорить. Он поворачивается. Открывает шкаф—тот самый, из которого доставал одежду—и вынимает оттуда... ещё одно зеркало. Маленькое. Походное. Овальное, в той же деревянной раме, только миниатюрное, размером с ладонь. И—рядом—маленькую шкатулку. Тоже деревянную, с медными уголками, которая, когда он открывает её, оказыва-

ется заполнена чем-то, что заставляет моё сердце сделать что-то странное—сжаться, разжаться, пропустить удар, как будто кто-то дотронулся до него пальцем.

— Ты сделал это для меня?

— Я подумал, что пригодится в путешествии.

Бросаюсь к нему. Обнимаю. Висну на шее—всей тяжестью, всем телом, как будто пытаюсь передать через прикосновение то, что не могу выразить словами. А слова... бесполезны. Неадекватны. Слишком малы, слишком плоски для того, что я чувствую—этой странной, тёплой, почти болезненной нежности, которая разливается под рёбрами и не хочет уходить.

— Ты лучший в мире.

Говорю это в его шею. Голос—сорванный, дрожащий, не тот уверенный, саркастический тон, который я обычно использую, а что-то другое. Более настоящее. Более уязвимое.

— Спасибо. — Его голос—тихий. Напряжённый. Как будто ему трудно дышать—или просто неудобно от такого близкого и напористого контакта, к которому он, судя по всему, не готов.

Слезаю. Открываю шкатулку. На тыльной стороне крышки—ещё одно зеркальце. Крошечное, размером с монету, идеально отполированное, отражающее моё лицо—увеличенное, детализированное, каждую пору, каждую морщинку, каждую рыжую веснушку на носу, которую я обычно стараюсь не замечать.

— А что внутри?

— Бальзам для губ. И крем для тела. Всё из лекарственных трав.

Смотрю на него. На это лицо—неровное, неидеальное, с кривой улыбкой и глазами, которые сейчас смотрят на меня с такой... нежностью. Такой человеческой нежностью, что что-то подкатывает к горлу—тёплое, плотное, неудобное.

— Благодарю за такой подарок. — Голос срывается. Совсем немного—едва заметно, но достаточно, чтобы он понял. — Ты действительно лучший в мире. Это мой первый подарок на день рождения с тех пор, как я уехала из дома.

Он замирает. Полностью. Абсолютно. Как будто я сказала не «спасибо за подарок», а что-то настолько неожиданное, что его мозг requires дополнительное время на обработку.

— Сегодня у тебя день рождения?

— Да.

— Поздравляю.

Тишина. Длинная. Глубокая. Заполненная только звуком нашего дыхания и тем, что висит в воздухе между нами—невысказанным, неозвученным, слишком хрупким, чтобы трогать словами.

— Ладно. — Первым ломает молчание он—как всегда, беря на себя ответственность за переход к делу, когда эмоции становятся слишком быстрыми. — Перейдём к делу. Сегодня нужно завершить татуировку.

— Да, сэр. — Отвечаю—и не могу сдержать улыбки. Широкой, глупой, не соответствующей серьёзности момента, но именно поэтому—настоящей.

Помогает мне снять кафтан. Руки—аккуратные, профессиональные, касающиеся только ткани, только тех мест, где нет тела под ней. И я понимаю—поздно, с опозданием на несколько часов—зачем он сделал это бельё. Не из-за недостатка материалов. Не из-за спешки.

Из-за этого. Из-за того, что сейчас, когда кафтан снят, а под ним—только те самые «тканевые полоски», которые я так яростно критиковала, мне... не так неловко, как могло бы быть. Есть что-то между его взглядом и моим телом. Какая-то преграда—тонкая, символическая, но достаточная, чтобы я могла сосредоточиться на работе, а не на том, что он видит то, чего никто не видел с тех пор, как я переехала в академию.

Он напоминает о сути заклинания. О том, что должно получиться—универсальная защита, комплексная, многослойная, способная противостоять тому, с чем мы можем столкнуться там, за океаном, в мире, о котором знаем только то, что он существует, и ничего больше.

Я погружаюсь. Полностью. Без остатка. Весь окружающий мир исчезает—не так, как в его пещере, не через переход в другое пространство, а через чистое, абсолютное сосредоточение. На руке, которая сейчас будет рисовать. На теле, которое будет холстом. На той сложной, многоуровневой структуре, которую нужно создать не на бумаге, не на ткани, а под кожей, сделав её частью себя в самом буквальном смысле.

Открываю глаза. Вижу—не сразу, постепенно, по мере того как образ формируется в сознании и проецируется на реальность—что получилось.

Не руна. Не символ. Нечто большее—анатомический рисунок. Мозг—занимает одну половину, деталезирован, с извилинами, с кровеносными сосудами, с тем уровнем детализации, который я никогда раньше не достигала. И сердце—с другой половины, соединённой с мозгом так, что граница между ними размыта, стирается, превращая два органа в единую систему. И вокруг—руны. Десятки. Сотни. Крошечные, сложные, переплетающиеся друг с другом, образуя матрицу, которая охватывает весь рисунок, как паутина, как сеть, как что-то живое, дышащее, работающее в унисон.

— Выглядит круто. — Его голос—тихий. Восхищённый. С тем тоном, который бывает у людей, когда они видят что-то, что превосходит их ожидания—не немного, а полностью, кардинально, на порядки. — Это явно следующий этап твоей магии. Ведь эта руна намного сложнее той, что предлагал тебе я.

Гордость. Чистая, детская, неразбавленная гордость разливается по груди—теплее, чем любое заклинание, сильнее, чем любой взрыв на полигоне. Потому что это—моё. Настоящее. Созданное не по инструкции, не по шаблону, а из того, что жило во мне всё это время и ждало, пока кто-то—он—не откроет дверь и не скажет: «Можно. Попробуй. Я верю в тебя».

Мы заканчиваем подготовительные работы к четырём часам утра. Я—с новой татуировкой под грудью, невидимой под одеждой, но ощутимой—каким-то тёплым, пульсирующим присутствием, которое, кажется, дышит в унисон с моим сердцем. Он—с тем же спокойствием, с той же уверенностью, что была у него, когда всё начиналось.

И он возвращает меня в общежитие. Тем же путём, которым мы сюда пришли—под плащом-невидимкой, рука об руку, по спящим улицам Прайвуда, мимо академических стен, через главные ворота, которые, как он объясняет, имеют слебую зону в системе обнаружения—три секунды каждые двенадцать минут, достаточно, чтобы пройти незамеченным, если знать, когда и как.

И я—возвращаюсь. В свою комнату. В свою кровать. В свою жизнь, которая уже никогда не будет прежней, потому что где-то там, в таверне на окраине города, есть человек, который помнит обещание, данное у ручья двадцать лет назад. И карта. И океан. И мир—большой, настоящий, ждущий там, за горизонтом, куда мы отправимся завтра.

Если, конечно, я решусь сделать этот шаг.

А я—уже решила. Ещё тогда, в кладовке, когда его дыхание касалось моей шеи, а слова «ты мне нравишься» висели в воздухе между нами, слишком честные, слишком прямые, чтобы быть игрой.

Я просто ещё не сказала ему об этом.

Завтра скажу.

# Отступление

В полумраке комнаты, где мягкий свет лампы едва пробивался сквозь тяжелые занавески, вошел отец. Он снял плащ, и шелест ткани отозвался тихим эхом по стенам.

– Ты всё ещё просматриваешь наши воспоминания? – его голос прозвучал ровно, но в нём сквозила доля любопытства.

Я отложил хрупкий шар и поднял глаза. На столе передо мной мерцало устройство – плоская серебристая пластина с едва заметными рунами.

– Лучше, – ответил я, прикоснувшись пальцами к холодному материалу. – Я записываю их на устройство, что ты мне дал неделю назад.

Отец подошёл ближе и склонился– Значит, на инфосферу. Молодец! Это устройство получилось отличным, но есть один недостаток. Записывать воспоминания можешь только ты со своим даром, а просматривать их может кто угодно. – В зрачках отца вспыхнуло что-то хитрое, будто он уже видел прибыль от чужого любопытства.

Я пожал плечами.

– Понял, отец. Ты ещё не придумал, как записывать воспоминания без моего участия и потому дал его мне.

Он рассмеялся тихо, но в голосе сквозило раздражение.

– А ты очень догадливый.

В этот момент отец стал неспокойно ходить по комнате вперед-назад, его длинные тени плясали на стенах, и мне показалось, что в каждом шаге заключён скрытый план. Сердце ёкнуло.

– Есть ли у тебя планы относительно этих записей? Я думал, они предназначены для будущих поколений, разве нет?

Он остановился, вдохнул и устремил на меня взгляд:

– А ты сейчас в каком моменте нашей жизни?

Я сжал руки в кулаки, пытаясь не выдать тревогу:

– Я в тот момент, когда ты уговаривал маму сбежать из города и говорил о каком-то материке за океаном.

Услышав это, отец невольно приподнял брови и даже улыбнулся, шагая к окну:

– Значит, скоро. – Он приободрился, и в голосе зазвенел тон предвкушения.

– Что скоро? – я глядел на него сквозь полупрозрачные занавеси.

– Ничего особенного, сынок. Как только дойдет до этого, сам меня найдешь.

Я опустил голову:

– Понял, спрашивать бесполезно. – Он уже поворачивался к двери, но я не отпустил его так просто.

– Подожди, отец, у меня есть вопрос.

Он остановился на пороге, вздохнул и пожал плечами:

– Какой?

– А сколько тебе лет? – спросил я, не отводя взгляда.

Отец почесал редеющую бороду, его пальцы дрогнули.

– Уже не помню, – пробормотал он. – Перестал считать после двухсот.

Я наклонил голову, удивленный:

– А как вы с мамой выглядите на свои тридцать? Это магия или как-то связано с её даром?

Его глаза на мгновение потемнели, но он отвечал спокойно:

– Конечно, нет. Всё связано с маной. Ты помнишь, сколько прожил Аврам? Тебе рассказывали в школе.

– Да, 187 лет, – повторил я.

– Значит, ты узнал секрет долгожительства богов? – отец рассмеялся сухо.

– Нет, Кайл, богов не существует. Это всё ложь. Аврам был простым человеком, только с чуть большим запасом маны. Он проводил жёсткие эксперименты с маной, и это увеличило продолжительность его жизни.

Я сидел, вслушиваясь в его слова, и ещё раз посмотрел на устройство.

– Значит, это зависит от количества маны?

– Правильно. Мана – это топливо, как еда или дрова для костра. Человек рождается с определённым запасом, и после перестроек организма оно не изменяется.

– Значит, у мамы маны меньше, чем у тебя? – проворчал я.

Отец качнул головой:

– Нет, это не зависит от роста к моему сожалению. У мамы запас в сотни раз больше. Она особенная. Вспомни эльфов, что приходят к нам в гости.

Я кивнул:

– Помню. Они часто приносят подарки и берут Астрид с собой.

Он уловил моё удивление и строго посмотрел:

– Надеюсь, ты не тратишь время зря. – Отец снова зашёлся шагами, едва сдерживая нетерпение. – У эльфов маленький внутренний запас маны при рождении, но их тела поглощают ману из окружающего мира. Вот почему они живут веками и предпочитают леса городам.

Я задумался и тихо произнёс:

– По этой же причине мы живём у леса, а не в городе – ты изучаешь поглощение маны телом.

Отец слегка улыбнулся, и в его взгляде блеснула гордость:

– Точно, сынок. Я почти закончил свои исследования. И, поскольку не могу конкурировать с мамой по объёму маны, пытаюсь уравнять шансы.

Я поинтересовался:

– И каковы твои шансы сейчас?

– В прямом бою я побеждаю её только в одном случае из ста.

Мы оба тяжело вздохнули, осознавая разницу в силах.

– Пятьдесят лет назад это был один шанс из ста миллионов, – тихо добавил отец, словно утешая сам себя.

Я заметил, что он снова погрузился в печаль, и набрал смелость:

– А что такое концентрация маны?

Он вернулся к столу, пригладил одежду:

– Если объяснять просто, маги сжимают воздух, превращая обычный ветер в лезвие, способное рассечь камень. Концентрация маны – это способ увеличить силу без изменения тела. Но у этого есть предел: слишком сильный сжатый воздух сначала воспламенится, а после взрывается. Чем больше изначальный объём «сосуда» – тела, тем больше маны он выдержит.

Я почувствовал холодок, когда его слова о неумолимой разнице в силе наполнили комнату.

– Последний вопрос, – сказал я тихо. – Папа, если с помощью концентрации маны можно продлить жизнь, почему ты не делишься этим секретом с другими?

Он приподнял указательный палец, словно делал важное замечание:

– В этом нет необходимости. Люди уже теряют связь с маной. За годы я видел много детей, и большинство из них вовсе нейтральны к ней. Почему – ты узнаешь из наших воспоминаний. – Он улыбнулся широкой улыбкой, повернулся и вышел из комнаты, оставив за собой шорох закрывающейся двери.

Я крикнул ему вслед:

– Только не говори, что ты смог изменить суть этого мира! Это невозможно!

Но отец уже удалился по коридору. От его ухода в воздухе остался лёгкий запах перегретого металла и старых книг. Я опустился в кресло и подумал, как порой он раздражает меня своим поведением, и почему мама всё это терпит.

# Глава 4 Побег

*«Начало всегда трудное. А конец –*
*всегда грустный. Но важно то, что между ними.» - Агата Кристи*

Коридор у библиотеки. Каменные стены, высокий потолок, запах старой бумаги и воска — знакомый до боли, настолько знакомый, что я перестал его замечать года три назад. Стою прислонённый к стене, руки в карманах, и считаю секунды. Семьдесят три. Семьдесят четыре. Семьдесят пять. Точность — моя вторая натура. Моя первая — импровизация, но сегодня импровизировать нельзя. Сегодня всё должно идти по плану, как хорошо отлаженный механизм, иначе мы оба окажемся в карцере.

Се

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.